

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ

< ИЗ № 1 «СОВРЕМЕННОГО» >

Декабрь 1856

< Рассказы графа Л. Н. Толстого. — «Областные учреждения России в XVII веке» Кавелина. — «Последние дни жизни Николая Васильевича Гоголя» из воспоминаний А. Тарасенкова. — «Русский вестник» и Тургенев. >

В прошедшем месяце, когда, по случаю издания «Детства», «Отрочества» и «Военных рассказов», мы выражали свое мнение о тех качествах, которые должны считаться отличительными чертами в таланте графа Л. Н. Толстого¹, мы говорили только о силах, которыми теперь располагает его дарование, почти совершенно не касаясь вопроса о содержании, на поэтическое развитие которого употребляются эти силы. Между тем нельзя не помнить, что вопрос о пафосе поэта, об идеях, дающих жизнь его произведениям, — вопрос первостепенной важности. Нельзя также не заметить, что было бы очень легко определить границы этого содержания, насколько оно раскрылось в произведениях, бывших известными публике в то время, когда писалась наша статья. Но мы не сделали этого, считая такое дело преждевременным, потому что речь шла о таланте молодом и свежем, до сих пор быстро развивающемся. Почти в каждом новом произведении он брал содержание своего рассказа из новой сферы жизни. За изображением «Детства» и «Отрочества» следовали картины Кавказа и Севастополя, солдатской жизни (в «Рубке леса»), изображение различных типов офицера во время битв и приготовлений к битвам, — потом глубоко-драматический рассказ о том, как совершается нравственное падение природы благородной и сильной (в «Записках маркера»), затем изображение нравов нашего общества в различные эпохи («Два гусара»). Как расширяется постепенно круг жизни, обнимаемой произведениями графа Толстого, точно так же постепенно развивается и самое воззрение его на жизнь. Настоящие границы этого воззрения было бы легко определить, но кто поручится, что все замечания об этом, основанные на прежних его произведениях, не окажутся односторонними и неверными с появлением новых его рассказов? В последних главах «Юности», которая напечатана в этой книжке «Современника», и читатели, конечно, заметили, как, с расширением сферы рассказа, расширяется и взгляд автора. С новыми лицами вносятся и новые симпатии в его поэзию, — это видит каждый, припоминая сцены университетской жизни Иртеньева. То же самое надобно сказать о рассказе графа Толстого «Утро помещика», помещенном в декабрьской книжке «Отечественных записок». Мы упоминаем об этом рассказе не с намерением рассматривать основную идею его, — от этого нас удерживает уверенность, что определять идеи, которые будут выра-

жаться произведениями графа Толстого, вообще было бы преждевременно. Тот ошибся бы, кто захотел бы определять содержание его севастопольских рассказов по первому из этих очерков, — только в двух следующих вполне раскрылась идея, которая в первом являлась лишь одною своею стороною. Точно так же мы должны подождать второго, третьего рассказов из простонародного быта, чтобы определительнее узнать взгляд автора на вопросы, которых касается он в первом своем очерке сельских отношений. Теперь очень ясно для нас только одно то, что граф Толстой с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина, — его мужик чрезвычайно верен своей натуре, — в речах его мужика нет прикрас, нет реторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат.

В новой сфере его талант обнаружил столько же наблюдательности и объективности, как в «Рубке леса». В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата. Сюжет рассказа очень прост: молодой помещик живет в деревне затем, чтобы заниматься улучшением быта своих крестьян. Для этой, как он верует, святой и достижимой цели, он бросил все, — и столицу, и знакомства, и удовольствия, и честолюбивые надежды на блестящую карьеру, — он хочет жить для блага своих крестьян, — это у него не фраза, а правдивое дело: он трудится неутомимо, он рвется из всех сил. Каков же результат его усилий? Это мы видим из рассказа об одном его «Утре», когда он, по обыкновению, ходит по избам тех мужиков, которым случалось до него дело в течение предыдущей недели, чтобы своими глазами видеть состояние семейства, разобрать, основательна ли просьба, и если основательна, то с общего совета придумать способ, как исполнить ее. Каковы эти консультации и к чему приводят они, читатель может видеть из первой сцены — в избе Чуриса или Чурисенка. Мы выбираем этот отрывок потому, что фигура Чурисенка — одна из самых законченных, самых рельефных и вместе самых типичных в рассказе, который, вообще, представляет очень много страниц, дышащих правдою:

«— Бог помощь! — сказал барин, входя на двор.

«Чурисенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав энергичное усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда только воткнул топор в колоду и, оправляя пояс, вышел на середину двора.

«— С праздником, ваше сиятельство! — сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами.

«— Спасибо, любезный. Вот пришел твое хозяйство проведать, — с детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов, оглядывая одежду мужика. — Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.

«— Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка, ваше сиятельство.

Хоть мало-мальски подпереть хотелось, сами изволите видеть; вот анадись угол завалился, еще помиловал бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висит, — говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые, кривые и обрушенные сараи. — Теперь и стропила, и откосы, и переметы только тронь: глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? сами изволите знать.

«— Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, переметы, столбы — все новое нужно, — сказал барин, видимо щеголяя своим знанием дела.

«Чурисенок молчал.

«— Тебе, стало-быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо было.

«Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет, насчет дубовых макушек, чтоб на господском гумне так, без дела лежат, — сказал он, кланясь и переминаясь с ноги на ногу: — так, може, я которые подменю, которые поурежу и из старого как-нибудь соорудю.

«— Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо и гнило: нынче этот угол обвалился, завтра тот, после завтра третий; так уж ежели делать все заново, чтоб не даром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму, или нет?

«— А кто ее знает!

«— Нет, ты как думаешь? завалится он, или нет?

«Чурис на минуту задумался.

«— Должен весь завалиться, — сказал он вдруг.

«— Ну, вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе...

«— Много довольны вашей милостью, — недоверчиво и не глядя на барина, отвечал Чурисенок. — Мне хоть бы бревна четыре да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь; а который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет.

«— А разве у тебя изба плоха?

«— Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь, — равнодушно сказал Чурис. — Намедни и то накатила с потолка мою бабу убила!

«— Как убила?

«— Да так, убила, ваше сиятельство: по спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала.

«— Что ж, прошло?

«— Прошло-то прошло, да все хворает. Она, точно, и от роду хворая.

«— Что ты, больна? — спросил Нехлюдов у бабы, продолжавшей стоять в дверях и тотчас же начавшей охать, как только муж стал говорить про нее.

«— Все вот тут не пускает меня, да и шабаш, — отвечала она, указывая на свою грязную, тощую грудь.

«— Опять! — с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами: — отчего же ты больна, а не приходила сказать в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повешали?

«— Повешали, кормилец, да недосуг все: и на барщину, и дома, и ребятишки — все одна! Дело наше одинокое...

«Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной, смрадной, шестиаршинной избенки, в потолке была большая щель и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.

«— Да, избенка очень плоха, — сказал барин, всматриваясь в лицо Чурисенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете.

«— Задавит нас, ребятишек задавит, — начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под полатами.

«— Ты не говори! — строго сказал Чурис и с тонкой, чуть заметной улыбкой, обозначившейся под его пошевелившимися усами, обратился к барину: — и ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство, с избой-то; и подпорки, и подкладки клал — ничего нельзя изделать!

«— Как тут зиму зимовать? Ох-ох-о! — сказала баба.

«— Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник настлать, — перебил ее муж, с спокойным, деловым выражением, — да кой-где переметы переменить, так, может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь — вот что; а тронь ее, так щепки живой не будет; только поколи стоит, держится, — заключил он, видимо весьма довольный тем, что он сообразил это обстоятельство.

«Нехлюдову было досадно и больно, что Чурис довел себя до такого положения и не обратился прежде к нему, тогда как он с самого своего приезда ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он чувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса, превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство.

«— Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? — с упреком заметил он, садясь на грязную, кривую лавку.

«— Не посмел, ваше сиятельство, — отвечал Чурис с той же, чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными, босыми ногами по неровному земляному полу; но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было верить, чтоб он не посмел притти к барину.

«— Наше дело мужицкое: как мы смеем!.. — начала было, всхлипывая, баба.

«— Ну, гуторь, — снова обратился к ней Чурис.

«— В этой избе тебе жить нельзя; это вздор! — сказал Нехлюдов, помолчав несколько времени. — А вот что мы сделаем, братец...»

Чтобы помочь Чурисенку совершенно, а не на время, не кое-как, Нехлюдов предлагает ему выселиться на новые места, на хутор, — там он найдет себе готовую новую избу. Чурисенок не может решиться на это — ему дорога родная изба, дорог родной двор с ветлами, которые посадил его отец, да и разорительно было б ему бросить свой удобренный участок, свой конопляник, чтобы получить на хуторе глинистую, неудобренную землю.

«Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у хозяев; он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую, нетопленную печь.

«— Что, вы уж обедали? — наконец спросил он.

«Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы; он ничего не ответил.

«— Какой обед, кормилец? — тяжело вздыхая, проговорила баба: — хлебушка поспедали, вот и обед наш. За сныткой нынче ходить неколи было, так и щец сварить не из чего, а что квасу было, так ребятам дала.

«— Нынче пост голодный, ваше сиятельство, — вмешался Чурис, поясняя слова бабы: — хлеб да лук — вот и пища наша мужицкая. Еще, слава-ти господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сю пору хватило, а то сплошь у наших мужиков и хлеба-то нет. Луку ныне везде незарод. У Михаила огородника анадьсь посылали, за пучок по грошу берут, а покупать нашему брату неогкуда. С Пасхи почитай что и в церкву божную не ходим, и свечку Миколу купить не на что.

«Нехлюдов уже давно знал не по слухам, не на веру к словам других, а на деле всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне; но вся действительность эта была так несообразна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как-будто воспоминание о каком-то свершенном, неискупленном преступлении мучило его.

«— Отчего вы так бедны? — сказал он, невольно высказывая свою мысль.

«— Да каким же нам и быть, батюшка, ваше сиятельство, как не бедным? Земля наша какая — вы сами изволите знать: глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы бога, вот уж с холеры почитай хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало: которые показали в экономию, которые тоже в барские поля поприбрали. Дело мое одинокое, старое... и где и рад бы хлопотал — сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рождает: ведь всех кормить надо. Вот один маюся, а семь душ дома. Грешен господа богу, часто думаю себе: хоть бы прибрал которых бог поскорее: и мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать...

«— О-ох! — громко вздохнула баба, как бы в подтверждение слов мужа.

«— Вот моя подмога вся тут, — продолжал Чурис, указывая на бело-голового шершавого мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и, уставив исподлобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса. — Вот и подсобка моя вся тут, — продолжал звучным голосом Чурис, проводя своей шершавой рукой по белым волосам ребенка: — когда его дождешься? а мне уж работа не в мочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи. А ведь уж мне давно с тягла, в старики пора. Вот Ермилов, Демкин, Зябрев — все моложе меня, а уж давно земли посложили. Ну, мне сложить не на кого — вот беда моя. Кормиться надо: вот и бьюсь, ваше сиятельство.

«— Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть? — сказал молодой барин, с участием глядя на крестьянина.

«— Да как облегчить? Известное дело, коли землей владать, то и баршину править надо — уж порядки известные. Как-нибудь малого дождусь. Только, будет милость ваша, насчет училища его увольте, а то наемный земский приходил, тоже, говорит, и его ваше сиятельство требует в училищу. Уж его-то увольте: ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит.

«— Нет, уж это, брат, как хочешь, — сказал барин: — мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и читать будет уметь, и в церкви читать — ведь все у тебя дома с божьей помощью лучше пойдет, — говорил Нехлюдов, стараясь выражаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и заминаясь.

«— Неспорно, ваше сиятельство: вы нам худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы с бабой на баршине — ну, а он хоть и маленек, а все подсобляет, и скотину загнать и лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужик, — и Чурисенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его.

«— Все-таки присылай его, когда сам дома и когда ему время — слышишь? непременно.

«Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил».

Эта сцена показалась нам одною из лучших в рассказе. Но если бы мы захотели указать все удачные лица мужиков, все правдивые и поэтические страницы, нам пришлось бы представить слишком длинный перечень, потому что большая часть подробностей в «Утре помещика» прекрасны.

В декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» также помещена повесть гр. Толстого «Встреча в отряде с московским знакомцем». Но о «Библиотеке для чтения» мы будем говорить в другой раз, а теперь возвращаемся к «Отечественным запискам», последняя книжка которых представляет, кроме рассказа, о котором мы говорили, еще две замечательные статьи, — одна из них — «Последние дни жизни Николая Васильевича Гоголя», из воспоминаний г. А. Т. Т—ва², чрезвычайно интересна по своему предмету, а другая и по ученому достоинству — это критический разбор книги г. Чичерина: «Областные учреждения России в XVII веке», написанный г. Кавелиным³. Уже давно г. Кавелин ничего не печатал; блистательная роль, которую он играл в исследованиях о русской истории, заставляла сожалеть о том, что он покинул деятельность, столь полезную и для науки и для публики. Ему бесспорно принадлежит одно из первых мест между учеными, занимающимися разработкою русской истории; его статьи, которыми в течение нескольких лет постоянно украшались «Отечественные записки» и «Современник», отличались редкими достоинствами изложения при капитальном значении для науки и пролили свет на многие затруднительнейшие вопросы ее. «Взгляд на юридический быт древней России», критические разборы сочинения г. Соловьева «Об отношениях между князьями Рюрикова дома», книги г. Терещенко «Быт русского народа», «Чтение в Обществе истории и древностей российских» и многие другие его статьи принадлежат к небольшому числу тех изысканий, на которые опираются господствующие ныне понятия о ходе и характере русской истории. Для внутренней истории быта никто из нынешних наших ученых не сделал более, нежели г. Кавелин. Потеря, понесенная наукою от его безмолвия, продолжавшегося уже несколько лет, очень велика. Мы не виним его за это безмолвие, очень хорошо зная, что у него, как и у многих других, могли быть на то причины очень уважительные. Но мы не можем не радоваться, что наконец он решился возобновить свою литературную деятельность. Статья, помещенная им теперь в «Отечественных записках», очень замечательна по проницательному объяснению причин и смысла учреждений, развившихся в течение московского периода и отношений этого порядка дел к прежнему быту русской земли.

Статья г. А. Т. Т—ва драгоценна для истории нашей литературы потому, что представляет довольно полное изложение хода загадочной болезни, имевшей своим следствием кончину Гоголя.

Была ли это болезнь чисто физическая или телесное расстройство происходило от душевного расстройства? И, какова бы ни была эта болезнь, действительно ли Гоголь умер от болезни или смерть была приведена самопроизвольною его решимостью не принимать пищи? Г. А. Т — в — доктор, который посещал и по

возможности лечил Гоголя в последний период этой таинственной агонии. Все симптомы ее, все действия Гоголя в это время так странны, что автор не отваживается ни одного из этих предположений отрицать решительным образом. Он только рассказывает факты, свидетелем которых был, — это, конечно, лучшее из всего, что можно сказать в настоящее время. Но в примечаниях он склоняется к тому мнению, что психические причины более, нежели физические страдания, участвовали в разрушении организма Гоголя и что самою сильнейшею из этих причин было слишком продолжительное воздержание от пищи. Конечно, мы не имеем возможности с достоверностью решать вопрос, которым затрудняется врач и очевидец. Но, сколько можно судить по фактам, которые он представляет, надобно, кажется, считать ближайшим к истине то ужасное предположение, что Гоголь сам уморил себя голодом, — не бессознательно, не вследствие психической болезни, а сознательно и, быть может, даже преднамеренно. Вот, по рассказу г. А. Т. Т—ва, факты, которые, кажется нам, ведут к такому заключению:

«Давно мне не случилось быть в доме, где жил Гоголь, и я не слышал ничего о его болезни. В среду на первой неделе поста прислали из этого дома за мною и объяснили, что происходило с Гоголем. Озабоченный положением больного, хозяин дома (граф Т—ой) желал, чтоб я видел и сказал свое мнение о его болезни.

«Однако ж Гоголь на этот раз не изъявил желанья меня видеть. Наконец посещавший его врач захворал и уже не мог к нему ездить. Тогда граф настоял на своем желаньи ввести меня к нему. Гоголь сказал: «напрасно, но пожалуй». Тут только я в первый раз увидел его в болезни. Это было в субботу первой недели поста.

«Увидев его, я ужаснулся. Не прошло месяца, как я с ним вместе обедал; он казался мне человеком цветущего здоровья, бодрым, свежим, крепким, а теперь передо мною был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного истощения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались сухими и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык с трудом шевелился, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел протянув ноги, не двигаясь и даже не переменив прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита...

«Я настаивал, чтоб он, если не может принимать плотной пищи, то по крайней мере непременно употреблял бы поболее питья и притом питательного — молока, бульона и т. д. «Я одну пилюлю проглотил, как последнее средство; она осталась без действия: разве надобно пить, чтобы прогнать ее», — сказал он. Не обременяя его долгими разговорами, я старался ему объяснить, что питье нужно для смягчения языка и желудка, а питательность питья нужна, чтоб укрепить силы, необходимые для счастливого окончания болезни. Не отвечая, больной опять склонил голову на грудь, как при нашем входе; я перестал говорить и удалился вместе с графом наверх.

«Испуганный, встревоженный мыслью, что Гоголь может скоро умереть, я должен был бороться с силами, чтобы притти в спокойное положение, в каком должно разговаривать с больным. Удалившись от графа, я почел обязанностью зайти опять к больному, чтоб еще сильнее высказать ему мои убеждения. Через служителя я выпросил у него позволения войти к нему еще на минуту. Мне вообразилось, что он колеблется в своих намерениях; я не теряя надежды, что Гоголь, привыкнув видеть мою искренность, послушается меня. Подойдя к нему, я с видимым хладнокровием, но с полною теплотою сердечною употребил все усилия, чтоб подействовать на его волю. Я выразил ему мысль, что врачи в болезни прибегают к совету своих собратий и их слушаются; не врачу тем более надобно следовать медицинским наставлениям, особенно преподаваемым с добросовестностью и полным убеждением; и тот, кто поступает иначе, делает преступление перед самим собою. Говоря это, я обратил свое внимание на лицо страдальца, чтобы подсмотреть, что происходит в его душе. Выражение его лица несколько не изменилось: оно было так же спокойно и так же мрачно, как прежде: ни досады, ни огорчения, ни удивления, ни сомнения не показалось и тени. Он смотрел, как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно. Впрочем, когда я перестал говорить, он в ответ произнес вятно, с расстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: «Я знаю, врачи добры: они всегда желают добра»; но вслед за этим опять наклонил голову, от слабости ли, или в знак прощания — не знаю. Я не смел его тревожить долее, пожелал ему поскорее поправляться и простился с ним; вбежал к графу, чтобы сказать, что дело плохо и я не предвижу ничего хорошего, если это продолжится.

«Как и чем было действовать при таком необыкновенном случае на эту исключительную личность? Граф употреблял все, что возможно было для его исцеления. Советовался с духовными лицами, знакомыми своими и друзьями Гоголя, призывал для совещания знаменитейших московских докторов. Одно духовное лицо подало совет убеждать Гоголя, что его спасение не в посте, а в послушании, и просило его непрекословно исполнять назначения врачебные во всей полноте. Духовник навещал его часто; приходский священник являлся к нему ежедневно. При нем нарочно подавали тут же кушать саго, чернослив и проч. Священник начинал первый и убеждал его есть вместе с ним.

«Неохотно, немного, но употреблял он эту пищу ежедневно; потом слушал молитвы, читаемые священником. Какие молитвы вам читать? — спрашивал он. «Все хорошо; читайте, читайте!» Друзья старались подействовать на него приветом, сердечным расположением, умственным влиянием: но не было лица, которое могло бы взять над ним верх, не было лекарства, которое бы перевернуло его понятия; а у больного не было желания слушать чьи-либо советы, глотать какие-либо лекарства. В воскресенье приходский священник убедил больного принять ложку клешевинного масла, и в этот же день он согласился было употребить еще одно медицинское пособие (слузта), но это было только на словах, а на деле он решительно отказался, и во все последующие дни он уж более не слушал ничьих увещаний и не принимал более никакой пищи (три дня), а спрашивал только пить красного вина.

«Силы больного падали быстро и невозвратно. Несмотря на свое убеждение, что постель будет для него смертным одром (почему он старался оставаться в креслах), в понедельник на второй неделе поста он улегся, хотя в халате и сапогах, и уж более не вставал с постели. В этот же день он приступил к напутственным таинствам покаяния, причащения и елеосвящения.

«Спешить с медицинской помощью теперь казалось еще нужнее. Приезжали врачи; каждый высказывал свое мнение. Думаи, судили, толковали; никто не присоветовал ничего решительного, да и не видно еще было близкой опасности. Между тем трудно было предпринимать что-нибудь

с человеком, который в полном сознании отвергает всякое лечение. Уже раз спасен он был от болезни в Риме без медицинских пособий, он приписывал это чуду. И в настоящее время сказал он одному из убеждавших его лечиться: «Ежели будет угодно богу, чтоб я жил еще — буду жить»...

«Во вторник являюсь я и встречаю гр. Т., чрезвычайно встревоженного сверх ожидания. «Что Гоголь?» — «Плохо, лежит. Ступайте к нему, теперь можно входить».

«Меня пустили прямо в комнату больного, без затруднения, без доклада. Гоголь лежал на широком диване, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами. Против его лица — образ богоматери; в руках четки; возле него мальчик его и другой служитель. На мой тихий вопрос он не отвечал ни слова. Мне позволили его осмотреть, я взял его руку, чтоб пощупать пульс. Он сказал: «Не трогайте меня, пожалуйста». Я отошел, расспросил подробно у окружающих о всех отправлениях больного: никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание, как теперь, так и во все эти дни не обнаруживалось.

«Между тем врачи, один за другим, приезжали проводить больного и узнавали, что с ним происходит. Один из почтенных врачей предложил магнетизировать больного, чтоб покорить его волю и таким образом заставить его делать что нужно. На следующий день положили собрать большой консилиум из опытейших врачей, чтоб приступить к мерам энергическим.

«Целый вторник Гоголь лежал, ни с кем не разговаривая, не обращая внимания на всех, подходивших к нему. По временам поворачивался он на другой бок, всегда с закрытыми глазами, нередко находилась как бы в дремоте, часто просил пить красного вина и всякий раз смотрел на свет, то ли ему подают. Вечером подмешали вино сперва красным питьем, а потом бульоном. Повидимому, он уже неясно различал качество питья, потому что сказал только: «Зачем подаешь мне мутное?» однако ж выпил. С тех пор ему стали подавать для питья бульон, когда он спрашивал пить, повторяя быстро одно и то же слово: «подай, подай!» Когда ему подносили питье, он брал рюмку в руку, приподнимал голову и выпивал все, что ему было подано.

«Вечером этого же дня пришел врач для магнетизирования. Когда он положил свою руку больному на голову, потом под ложку и стал делать пассы, Гоголь сделал движение телом и сказал: «Оставьте меня!» Продолжать магнетизирование было нельзя.

«На следующий день, в среду утром, больной находился почти в таком же положении, как и накануне; но слабость пульса усилилась весьма заметно, так что врачи, видевшие его в это время, полагали, что надобно будет прибегнуть к средствам возбуждающим (moschus). Около полудня собрались вместе приглашенные доктора (пятеро), а также несколько друзей Гоголя и множество знакомых. Предложен был вопрос: оставить ли теперь больного без пособий, которые он отвергает сам, или поступать с ним, как с человеком, не владеющим собою? Решили: лечить больного, несмотря на его нежелание лечиться.

«Все врачи вошли к больному, стали осматривать и расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что чрез него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, [также] было для него болезненно, потому что также возбуждало стои или крик. На вопросы докторов больной или не отвечал ничего, или отвечал коротко и отрывисто «нет», не раскрывая глаз. Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня, ради бога!»

«Кроме исчисленных явлений, ускоренный пульс и носовое кровотечение, показавшееся было в продолжение его болезни само собою, послужили показанием к приставлению пиявок в незначительном числе. Было поставлено восемь пиявок к ноздрям, приложены холодные примочки на голову, а потом сделано обливание головы холодной водою в теплой ванне. Когда больного раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это

делают напрасно. После ванны его опять положили в постель, обернув в простыню. Видно, он прозяб, потому что проговорил: «Покройте плечо, закройте спину!» Во время приставления пиявок он повторял неоднократно: «Не надо, не надо!» Когда они были поставлены, он твердил: «Снимите пиявки, поднимите (ото рта) пиявки!» и стремился их достать рукою, которую удержали силою. Один из консультантов, приехавший позже других и знавший лично Гоголя, выслушав историю его болезни, назвал болезнь *gastro-enteritis ex inanitione*, объявил дурное предсказание, сказав, что «навряд ли что-либо успеете сделать с этим больным при таком его нежелании лечиться»; но другие врачи не теряли надежды на его спасение и в шесть часов вечера опять собрались у больного.

«Гоголь лежал молча, как бесчувственный, и как будто не обращал внимания или не понимал того, что около него происходило, несмотря на громкий разговор окружающих. Предлагали ему вопросы, называли его по имени, но не добились ни одного слова. Тут положили ему на голову лед, на руки и на ноги горчичники, поддерживали кровотечение из носа, внутрь давали лекарство. Но и эти деятельные пособия не оказали благоприятного действия. Пульс делался все слабее; дыхание, затрудненное уже утром, становилось еще тяжелее. Вскоре больной перестал сам поворачиваться и продолжал лежать смирно на одном боку. Когда с ним ничего не делали, он был покоен; но когда ставили или снимали горчичники и вообще тревожили его, он издавал стон или вскрикивал; по временам он явственно произносил: «давай пить!», уже не разбирая, что ему подают.

«Позже вечером он, повидимому, стал забываться и терять память. «Давай бочонок!» — произнес он однажды, показывая, что желает пить. Ему подали прежнюю рюмку с бульоном, но он уже не мог сам приподнять голову и держать рюмку; надобно было придержать и то и другое, чтобы он был в состоянии выпить поданное.

«Еще позже он по временам бормотал что-то невнятное, как бы во сне, или повторял несколько раз «давай, давай! ну что ж?» Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!» Казалось, ему хотелось встать. Его подняли с постели, посадили на кресло. В это время он уже так ослабел, что голова его не могла держаться на шее и падала машинально, как у новорожденного ребенка. Тут привязали ему мушку. Во все это время он не глядел и беспрерывно стонал. Когда его опять укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться, он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, наступает смерть, но это был обморок, который длился несколько минут. Пульс возвратился вскоре, но сделался едва приметным.

«После этого обморока Гоголь уже не просил более ни пить, ни поворачиваться; постоянно лежал на спине с закрытыми глазами, не произнося ни слова.

«В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Я положил кувшин с горячею водою, стал почаще давать проглатывать бульон, и это, повидимому, его оживляло; однако ж вскоре дыхание сделалось хриплым и еще более затрудненным; кожа покрылась холодною испариною, под глазами посинело, лицо опустилось, как у мертвеца. В это время приехал доктор, который распорядился лечением. Он продолжал почти во всю ночь давать лекарства и употреблять разные медицинские меры. Больной только стонал, но не произносил более ни слова.

«На другой день, в четверг 21-го февраля 1852 года, доктора не успели устроить нового совещания, которое предполагали возможным. Приехав в назначенный час, они нашли не Гоголя, а труп его: уже около восьми часов утра прекратилось дыхание, исчезли все признаки жизни...»

Если действительно Гоголь сам был причиною своей смерти — в чем, кажется нам, трудно сомневаться после рассказа г. А. Т. Т—ва, — если действительно он остался бы жив и сделался бы

здоров, когда захотел бы о том позаботиться, не отвергал бы и пишу и медицинские пособия, то в самом безрассудстве, с которым он губил себя, все-таки обнаруживается высокая и сильная натура. Какое жалкое, дикое убеждение, — но какая высокая жертва ради убеждения! Какое поразительное свидетельство с одной стороны — слабости, с другой стороны — высоты этого человека.

Мы нашли столько хорошего в декабрьской книжке «Отечественных» записок, что нам уже не хочется говорить об ответе г. Галахова (в журналистике декабрьской книжки) на замечания, сделанные нами на его статью против г. Лайбова⁴. Да и нет надобности отвечать ему: от г. Лайбова он обращает свой гнев на нас — пусть гневается, особенно если это приносит ему удовольствие; собственно за себя мы не намерены вступить в полемику ни с кем, — тем более не находим нужды делать этого в настоящем случае; потому что г. Галахову не удалось сказать против наших замечаний ничего такого, что заслуживало бы ответа.

Точно так же мы не будем ничего отвечать и на «Письмо к г. Филиппову», напечатанное в четвертой книге «Русской беседы», — автор письма выражает полное свое согласие с мнениями, которые высказаны г. Филипповым в статье, которая помещена была в первой книжке «Русской беседы»⁵ и в свое время была строго осуждена нами. Автор письма весьма негодует на нас за это осуждение, — что весьма естественно в человеке, вполне разделяющем мнения г. Филиппова; статья г. Филиппова безвозвратно осуждена не нами одними, а всею публикою, стало быть, возобновлять историю о ней совершенно бесполезно.

В прошедшем месяце мы сказали, что те особенные воззрения, которыми славянофилы хотят отличаться от огромного большинства публики, не достигли еще ясности и потому не имеют еще особенной важности. Но с тем вместе мы сказали, что «Русская беседа», независимо от своего направления, заслуживает внимания по довольно значительному числу дельных статей, — в числе сотрудников ее есть люди ученые и даровитые, которые судят очень здраво, когда речь идет не о туманных отвлеченностях (которыми, к сожалению, многие из них слишком часто заняты), а о таких вопросах, которые имеют действительный смысл. Мы пользуемся выходом четвертой книжки «Русской беседы», чтобы обозреть все четыре книги ее, составляющие годичное издание, и обратить внимание публики на статьи, заслуживающие одобрения.

Прежде всего мы должны назвать прекрасные «обозрения» ки[язя] Черкасского: «Обозрение политических событий в Европе за 1855 год» (ки[ига] первая), «Протоколы Парижского конгресса» (ки[ига] вторая) и «Обозрение внутреннего законодательства» (ки[ига] третья): они заслуживают большого внимания по ясности и благородству взгляда и по замечательной осно-

вательности; в том предмете, которым занимается кн[язь] Черкасский, мы имеем очень мало специалистов; но если б у нас было их и много, автор статей, нами названных, все-таки остался бы писателем замечательным; теперь же мы почти не можем указать в этом роде ничего равного по достоинству его дельным статьям, написанным с большим знанием предмета. Кто хочет узнать «Русскую беседу» с самой выгодной стороны, должен прочесть эти статьи и стихотворения г. И. Аксакова⁶ (в первой книге; в свое время мы представили нашим читателям эти стихотворения; к сожалению, в трех следующих книгах г. И. Аксаков не поместил ни одной пьесы. Неужели он так мало пишет?).

Очень дельны три статьи г. Кошелева о железных дорогах — две первые были напечатаны в первой книге; на одну из них, заключавшую замечания против статьи, помещенной в февральской книжке нашего журнала, г. Журавский написал в «Современнике» возражения; третья статья (в четвертой книге) служит ответом на эти возражения. Спор этот самым выгодным для «Русской беседы» образом отличался от скучных прений о народном воззрении, в которых каждым новым объяснением славянофилы все только больше затемняли вопрос о том, чего они хотят. Тут, напротив, дело было совершенно ясно и разумно, каждый читатель очень хорошо понимал, чего и по каким основаниям хочет г. Кошелев; мы не беремся решать, на чьей стороне было больше справедливости, но самый нерасположенный к «Русской беседе» читатель согласится, что г. Кошелев говорил не без доказательств, защищая мысль, что Москва должна быть центральным пунктом всей сети железных дорог. С этим мнением можно соглашаться или не соглашаться, но во всяком случае оно имеет за себя многие факты и заслуживает серьезного внимания. Правда и то, что в нем нет ничего специально славянофильского. Можно быть заклятым западником и все-таки думать, что Москва, центр мануфактурной деятельности и сухопутных торговых путей, должна быть центром железных дорог; можно быть заклятым славянофилом, и предпочитать в этом случае Москве Киев или какой-нибудь другой город.

В двух последних книгах «Русской беседы» возбудили много толков статьи г. В. Григорьева о Грановском⁷. Многие думали видеть в них следы какой-то вражды против Грановского, какого-то желания унижить его: справедливо или несправедливо такое предположение, во всяком случае нельзя совершенно одобрить удалого тона, в котором написаны эти воспоминания, и довольно частых панегириков автора самому себе. Но как бы то ни было, статьи эти драгоценны, потому что заключают в себе очень много интересных фактов. Биографическая отрасль литературы у нас еще очень слаба, и потому всякие биографические воспоминания, по своей редкости, имеют у нас двойную цену.

Интерес, возбужденный «Семейною хроникою» г. С. Аксакова, делает излишними всякие похвалы двум статьям его, помещенным в «Русской беседе».

Чтобы заключить перечень статей «Русской беседы», имеющих положительное достоинство независимо от славянофильского или неславянофильского своего направления, упомянем известия г. Гильфердинга о современной литературно-ученой жизни у некоторых западных славянских племен. Можно посмеяться над г. Гильфердингом, когда он оплакивает участь нынешних пруссаков и саксонцев, к величайшему своему несчастью разучившихся говорить по-славянски, или доказывает, что персияне — европейцы, а славяне — азиаты; но его статьи, помещенные в «Русской беседе», заключают много интересных фактов.

Этот перечень был бы гораздо длиннее, если бы прибавить к нему статьи, сильнее пострадавшие от слишком неумеренной примеси отвлеченных эпизодов в славянофильском вкусе, но все-таки имеющих много дельных страниц. Вообще, кто захочет беспристрастно взглянуть в «Русскую беседу», найдет в ней много хорошего. Правда и то, что быть беспристрастным в этом случае довольно трудно. Мы уверены, многим даже не понравится то, что мы, не ограничиваясь выставлением слабых сторон этого журнала, указываем и хорошее в нем. Нерасположение против «Русской беседы» в огромном большинстве публики очень сильно. Иные воображают, что это нерасположение относится собственно к самому славянофильскому направлению. Нет; нельзя, конечно, думать, чтобы славянофильство, в каком бы виде ни являлось оно, могло приобрести многих приверженцев, — оно слишком противоречит очевидным фактам и положительным потребностям русского общества. Но все-таки в нем, если рассматривать его в лучших его представителях, нет ничего антипатичного. Оно заблуждение, но заблуждение, могущее иметь очень благородный характер и соединяться со многими прекрасными элементами. Славянофилам вредит не то, что они славянофилы; есть другие причины предубеждения против них. Придавая слишком большую важность своим отвлеченным понятиям о всеобъемлющем характере русской народности, о так называемой односторонности и несостоятельности западной науки и жизни они слишком готовы без разбора восхищаться всяким суждением, лишь бы только оно было в пользу народности против европеизма. Чтобы объяснить эту ошибку, мы воспользуемся прелестною историею, которая открыта была одним из сотрудников «Русской беседы».

В «Земледельческой газете» (1856 г.), № 23 и 24, помещена была статья г. Великосельцева «Заметки о связи между улучшенною жизнью, нравственностью и богатством в крестьянском быту». Автор рассуждает: отчего многие из наших крестьян бедны? Отчего многие из них пьют? И каким бы образом помочь

этому делу? Вся беда, по мнению г. Великосельцева, происходит оттого, что жены крестьян не заботятся об артистической красоте своих поз, не стараются иметь красивую талию. А помочь беде также очень легко, — пусть крестьянские женщины заботятся о красоте талии, — и дело пойдет прекрасно. Вы не верите? Но нет, г. Великосельцев говорит не в шутку.

Возможно ли читать без смеха эти предположения, что для улучшения быта поселян нужно затянуть сельских девушек в корсеты, набить им головы романами, выучить их танцевать французскую кадрили, а мужиков приучить к тому, чтобы они целовали ручки у своих дам? По мнению «Русской беседы», г. Великосельцев — западник; в самом деле, подобно западникам, он толкует о просвещении, об улучшении быта, о смягчении нравов! Спрашивается теперь, какое мнение стала бы иметь публика о западниках, если бы они, основываясь на том, что г. Великосельцев с жаром говорит о просвещении, вздумали защищать его проекты, печатать в своих журналах его статьи, а [если бы кто в «Русской беседе»] осмелился бы сказать, что напрасно они компрометируют себя союзом с г. Великосельцевым, стали бы печатать в своих журналах объявления, что г. Великосельцев рассуждает очень здраво и основательно? Кто был бы тогда виноват в том, что публика стала бы смеяться над западниками?

Величайший вред славянофилам приносит, как мы сказали, неразборчивость в выборе союзников. Нет сомнения, что если бы «Русская беседа» остерегалась от статей и мнений, имеющих такое же отношение к славянофильству, как проекты г. Великосельцева к западничеству, то исчезло бы предубеждение против славянофильства. Публика ни в каком случае не сделала бы последовательницею славянофильских теорий, но, по крайней мере, смотрела бы на них с большим уважением.

Читатели наши знают о странной выходке редактора «Русского вестника» против г. Тургенева⁸. Г. Тургенев отвечал на нее следующим письмом, адресованным на имя г. редактора «Московских ведомостей» и напечатанным в № 151 этой газеты:

«Париж 4-го (16-го) декабря.

М. Г.,

Я на-днях получил № «Московских ведомостей», в котором помещено объявление об издании «Русского вестника» в будущем году, вместе с замечанием насчет моих отношений к этому журналу. Как ни неприятно мне занимать публику подробностями дела, лично до меня касающегося — я не могу не отвечать на это замечание и надеюсь, что вы не откажетесь поместить мой ответ в вашей газете.

Вот в чем дело. Прошлой осенью я, не назначая, впрочем, определенного срока, обещал г-ну издателю «Русского вестника» повесть под названием «Призраки», за которую я принялся в то же время, но которую и до сих пор кончить не успел. В начале нынешнего года я заключил с гг. издателями «Современника» условие, в силу которого я обязался помещать свои произведения исключительно в их журнале, причем, однако, я выговорил

себе право исполнить прежние свои обещания, а именно в отношении к «Русскому вестнику». Следовательно, вся моя вина состоит в том, что я до сих пор не окончил этой повести. Но г-н Катков, несмотря на то, что, по его словам, он питает ко мне уважение, почел себя в праве наемкнуть, что эту самую повесть я поместил под именем «Фауст» в № IX «Современника», тогда как тем из наших общих знакомых, которым я сообщаю планы моих произведений, хорошо известно, что между этими двумя повестями нет никакого сходства. Я нахожу, что подобный поступок со стороны г-на Каткова разрешает меня совершенно от обязанности исполнить мое слово — и это я делаю тем охотнее, что непоявление моей повести на листах его журнала, вероятно, никем замечено не будет. Г-н Катков напрасно старается меня успокоить. Я слишком хорошо знаю сам, что содействие мое в одном журнале — ни значительно способствовать его распространению, ни повредить другому — решительно не может. Заслуженный успех «Русского вестника» — лучшее тому доказательство.

Примите и пр.

Иван Тургенев».

Справедливость должна бы была внушить г. Каткову, что, прежде нежели позволять себе оскорбительные намеки о г. Тургеневе, он должен был бы узнать от г. Тургенева положительным образом, имеют ли какое-нибудь основание подозрения, которыми увлекся он, г. Катков. Если б не пренебрег он этим простым и прямым путем к рассеянию своих несправедливых предположений, он был бы избавлен от необходимости, — конечно, неприятной для него, извиняться. Но дело было сделано, и г. Тургенев вынужден был выходкой г. Каткова напечатать письмо, которое привели мы выше. В следующем номере (152-м) «Московских ведомостей» г. Катков поместил в свою очередь письмо к редактору этой газеты; в этом письме он, между прочим, как и следовало ожидать от благородного человека, которому раскрыта его ошибка, извиняется перед г. Тургеневым. Вот подлинные слова г. Каткова:

«Глубоко сожалею, что догадка о сходстве *Призраков*, обещанных в «Русский вестник», с *Фаустом*, напечатанным в «Современнике», оскорбила г. Тургенева... Высказывая эту догадку, я, впрочем, не придавал ей особенного значения... Чистосердечно извиняюсь перед г. Тургеневым в том, что могло показаться ему в этой догадке оскорбительным... Теперь, когда г. Тургенев объявил, что между *Фаустом* и планом другой повести, которой дает он название *Призраков*, нет ничего общего, я считаю это дело решенным».

В этом «чистосердечном извинении» г. Каткова перед г. Тургеневым заключается сущность ответа г. Каткова. [И если вообще его ответ проникнут чувством досады, то эту досаду, очень естественную в человеке, принужденном публично просить извинения, легко простит г. Каткову каждый, кто хотя на минуту перенесется мыслью в положение г. Каткова. Это положение неловкое и жалкое. Каждый сострадательный человек будет душевно скорбеть об участи, которой подверг себя г. Катков].

Январь 1857

<«Отечественные записки» (Дудышкин) о Тургеневе. — «Богдан Хмельницкий» Костомарова. — «Черты из русской жизни в XVII столетии» И. Забелина. — «Библиотека для чтения»: «Столичные родственники» Григоровича. — «Морской сборник»: «Еще несколько слов моим сослуживцам» г. П.>

Очень много написано было в последние годы о старых наших авторах, сочинения которых теперь служат более памятниками прошедшего, нежели чтением современной публики. Ломоносов и Сумароков, Тредьяковский и Кантемир, Лукин и Княжнин, и проч. и проч. становились поочередно предметом внимательного исследования. Это было хорошо; но дурно было то, что, углубившись в старину, мы забывали о настоящем. Почти ни один из писателей, действующих ныне, не был оценен надлежащим образом. О г. Тургеневе, г. Григоровиче, г. Островском, г. Писемском и других наших современниках вообще вы найдете в журналах только отзывы или слишком краткие, или слишком поверхностные. Пора нам перестать довольствоваться такими беглыми замечаниями, пора заговорить с должным вниманием о деятельности писателей, которые в истории литературы занимают, конечно, не менее важное место, нежели писатели предшествовавших периодов, сочинения которых для нас гораздо важнее, нежели все то, что писалось сорок, шестьдесят лет тому назад и уже не читается теперь.

С этой точки зрения, мы очень рады появлению, в январской книжке «Отечественных записок», большой статьи г. Дудышкина о сочинениях г. Тургенева. Она еще не кончена в этой книжке, но взгляд критика на автора «Записок охотника» уже совершенно выразился в той части разбора, которую прочли мы¹.

Г. Дудышкин очень справедливо считает интереснейшим для критики вопрос о том, какое воззрение на жизнь выразилось в произведениях писателя. Он считает первую обязанностью критика определить отношение писателя к современной идее. «Стать в уровень с идеею в том объеме, как она выработана современною наукою, современною жизнью, в том значении, которое она получает, как последнее слово истории — это одна из первых потребностей и вместе заслуг каждого писателя. Кто не имеет никакого отношения к этой идее, тот не имеет и значения в современной литературе» — это понятие очень справедливо. «Но, — продолжает критик, — статья на высоте современной идеи нашему русскому писателю еще недостаточно, по крайней мере, не значит решить вопрос окончательно. Наш писатель должен показать отношение идеи к той почве, на которой заставляет он идею жить, к тому обществу, которое должно служить ей обстановкой» — и,

это правда; одно только выражение в этих словах кажется нам не совсем точным: «*нашему русскому писателю недостаточно... наш писатель должен*». Почему ж именно «наш» писатель, а не вообще всякий писатель всякой нации должен определить отношение идеи к обществу, им изображаемому? Эта обязанность равно лежит и на немецком, и на английском, и французском писателе, и ни один из их замечательных писателей не уклонялся от нее, — если у китайцев или персиян есть в настоящее время замечательные писатели, то, конечно, и они показывают отношение своих идеалов к изображаемому ими обществу. Или, при определении отношения идеала к жизни, на русском писателе лежат какие-нибудь особенные условия, которыми не обязаны стесняться другие писатели? Кажется, что критик думает так: «что, если эти отношения будут чисто отрицательные, как тогда помирить их?» — продолжает он. «А если писатель найдет, что между ними может быть гармония, то в какие формы облечет он свои идеи?» Если не ошибаемся, в этих словах уже выражено мнение, что идеал непременно должен представляться у писателя, о котором говорит критик, гармонирующим с окружающею его жизнью. Если это условие имел он в виду, то едва ли можно назвать его мнение справедливым. Почему ж идеал необходимо должен представляться примиренным с действительностью? Этого примирения в таком смысле, как понимается оно обыкновенно людьми, требующими его, нет даже у Шекспира, не только величайшего, но и спокойнейшего из всех поэтов. Ни один из его идеалов не умеет устроить свои дела так, чтобы жить да поживать в довольстве и благополучии. Гамлет и Офелия, Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона, — все они наделали много хлопот и горя и себе и другим, ни одного из них Шекспир не мог поставить «в гармонию с обстановкою». Зачем же налагать на русского писателя обязанность, которой не исполнял сам, этот невозмутимо спокойный, гений Шекспира? Нам кажется, что г. Дудышкин не совсем прав, приготавлиаясь выражать неодобрение современному писателю, у которого не найдет «гармонии идеала с обстановкою» — ни у какого писателя, никакой нации и эпохи не найдет он этой гармонии; или поголовно осудит он всех поэтов, от Гомера по 1857 год включительно?

Определив таким образом свои требования, г. Дудышкин хочет определить черты идеала, изображаемого г. Тургеневым, но прежде считает нужным объяснить, каковы были господствующие литературные взгляды в то время, когда явились первые произведения господина Тургенева. Тут следуют выписки из «Отечественных записок» 1841—1845 годов, и г. Дудышкин подсмеивается над неосновательностью мнений, какие тогда выражались журналом, который теперь украшается прекрасными статьями г. Дудышкина². Журнал с пренебрежением отзывается о своем прошедшем — это вообще было бы неловко; а когда про-

шедшее журнала имеет неоспоримое и высокое достоинство, это и несправедливо. Неужели прошедшее «Отечественных» записок так забавно, что сами «Отечественные» записки не могут вспомнить о нем без улыбки сожаления? Но какое нам дело до того, уважают ли «Отечественные» записки свое прошедшее! В настоящем случае жаль только, что эта насмешка вовлекла г. Дудышкина в некоторые ошибки при определении идеала, изображаемого г. Тургеневым. Выписав из «Отечественных» записок старых годов суждения о героях Баратынского и Лермонтова и посмеявшись над этими суждениями, г. Дудышкин решает, что главные лица многих повестей г. Тургенева сходны с героями Баратынского и Лермонтова, что повести г. Тургенева принадлежат той же литературной школе, как «Герой нашего времени». На каком же это основании? На том, что все их главные лица «лишние люди», не находящие себе счастья и благодетельного труда в жизни. После того и «Гамлет», вероятно, покажется написанным под влиянием литературной школы, к которой принадлежал Лермонтов, — ведь Гамлет тоже лишний человек. Каким же образом явилась эта натяжка? Г. Дудышкин предполагает, во-первых, что все главные лица мужского пола во всех повестях г. Тургенева, от «Андрея Колосова» до «Рудина», изображаются г. Тургеневым, как идеалы; во-вторых, что все эти лица списаны с одного и того же типа. Вот до каких предубеждений доводит односторонняя теория! Но какое же сходство между Пасынковым и Вязовкиным, между Рудиным и Бреттером? И возможно ли сказать, что хотя одно из этих лиц выставлено идеалом? Ничего подобного и не бывало. И какое же сходство между мыслью тех повестей, в которых действуют эти лица, и мыслью «Героя нашего времени»? Все выводы эти основаны на недоразумении. Г. Дудышкин читал в старых «Отечественных» записках и в первых годах «Современника», что Евгений Онегин сменился в нашем обществе и литературе Печориным, Печорин — Бельтовым³, — недавно прочел он в «Современнике», что за этими типами последовал Рудин, — он вздумал развить эту параллель, но понял ее вовсе не в том смысле, как она высказывалась; ему вздумалось, что Печорин — список с Онегина, что Бельтов — список с Печорина, — естественным продолжением такой ошибки было, что и в Рудине ему вздумалось видеть список с Печорина. Но параллель между ими проводилась вовсе не затем, чтобы показать их одинаковость — сходства между этими четверьмя людьми четырех разных эпох общественного развития вовсе нет — а затем, чтобы показать различие между характером эпох, которым принадлежат они. Онегин скучает потому, что он, хотя и добрый, но в сущности пустой человек, начитавшийся Байрона и избалованный обществом. Чего ему хочется, о чем он тоскует — он сам не знает, — а в сущности он скучает о том, что не о чем ему погоревать серьезно, о том, что в голове у него нет сильной мысли, а сердце его

износилось от волокитства. Печорин человек совершенно другого характера и другой степени развития. У него душа действительно счень сильная, жаждущая страсти; воля у него действительно твердая, способная к энергической деятельности, но он заботился только лично о самом себе. Никакие общие вопросы его не занимают. Надобно ли говорить, что Бельтов совершенно не таков, что личные интересы имеют для него второстепенную важность? Но Бельтов еще не находит никакого сочувствия себе в обществе и мучится тем, что ему совершенно нет поля для деятельности. Все эти три типа были изображены, как идеалы. Рудин изображен вовсе не идеалом — только в конце повести автор несколько смягчается к выведенному им типу и, думая, что уже с достаточною силою выставил его недостатки, говорит, что было в нем и нечто хорошее, — именно его пламенная ревность трудиться, трудиться неумоимо, — но, прибавляет он, возвращаясь к прежней точке зрения, с которой смотрел на него во все продолжение рассказа, — но эта ревность мало принесла пользы, потому что у Рудина не доставало практического такта, не было умения взяться с надлежащей стороны за дело. Вы видите разницу между Рудиным и Бельтовым: один — натура созерцательная, бездейственная, быть может потому, что еще не приходило время являться людям деятельным. Другой трудится, трудится неумоимо, — но почти бесплодно. Еще менее возможно найти сходство между Рудиным и Печориным: один — эгоист, не думающий ни о чем, кроме своих личных наслаждений; другой — энтузиаст, совершенно забывающий о себе и весь поглощаемый общими интересами; один живет для своих страстей, другой — для своих идей. Это люди различных эпох, различных натур, — люди, составляющие совершенный контраст один другому. Скорее вы найдете сходство между Дон-Кихотом и Манфредом, между Фаустом и Дон-Жуаном, нежели между Рудиным и Печориным или Онегиным, который еще дальше от Рудина.

Каким же образом можно было сказать, что Рудин не представляет ничего нового после Печорина и Онегина? В нем все ново, от его идей до его поступков, от его характера до его привычек. Мы здесь не можем пересматривать всех повестей г. Тургенева с их действующими лицами, но довольно и этого одного примера, чтобы видеть, до каких странннх ошибок довело г. Дудышкина ошибочное развитие мысли, вычитанной им в старых «Отечественных» записках», но не понятой им. Скажите, каким образом можно соединять в один тип с Печориным, Онегиным, Бельтовым (которые и по себе представляются каждый особенным типом) не только Рудина, но точно так же и Астахова (в «Затишьи») — этого бездушного пошлеца, который свою низость и бесчувственность прикрывает европейскими фразами и приличными манерами, — и Вязовкина (в «Двух приятелях»), человека хорошего и образованного, но вовсе не мечтательного

и наклонного к тихому, счастливому успокоению среди самой будничной обстановки? Все это люди совершенно различных типов.

Каким образом произошла эта странная ошибка, спутавшая в один портрет черты совершенно различных людей? Г. Дудышкин увлекся теориею о необходимости «примирять идеал с его обстановкою» и мыслью, впрочем прекрасною, о необходимости «трудиться». В этом увлечении создавалась у него довольно любопытная эстетическая система, которую изложим в нескольких словах.

Что такое значит «человек должен гармонировать с обстановкою»? Вот что: если у вас есть тетка или бабушка, держите себя так, чтобы она была вами довольна; если у вас есть начальник, держите себя так, чтобы он отзывался о вас: «славный человек НН»; если у вас есть соседи, живите с ними в приятельских отношениях; если вы еще не женаты, то женитесь на первой девушке, которую соседские сплетни объявят вашею невестою; иначе тетка будет вами недовольна, начальник не даст вам повышения, соседи объявят вас фармазоном, девушка, на которой соседи вздумали женить вас, подвергнется осуждению за то, что не умела удержать жениха, — все будут вами недовольны, и будет ясно, как дважды два четыре, что «вы не годитесь для окружающей вас обстановки», что вы «лишний человек», что вы даже пустой и жалкий человек.

Что такое значит: «трудиться»? — трудиться значит быть расторопным чиновником, распорядительным помещиком, значит устраивать свои дела так, чтобы вам было тепло и спокойно, не нарушая, однако же, при этом устройении своих делишек, условия, которые соблюдает всякий порядочный и приличный человек.

Если вы недовольны такими правилами, вы не годитесь для окружающей вас обстановки, вы не хотите трудиться, вы опять-таки пустой и праздношатающийся человек.

Г. Дудышкин в статье, о которой мы говорим, так увлекся этою теориею «гармонии с обстановкою», что, чей бы рассказ ни попался ему под руку, он тотчас отыскивает главное лицо мужеского пола и спрашивает его: «Гармонируешь ли ты с обстановкою?» — «Трудишься ли ты?» Герои Баратынского и Пушкина, Лермонтова и г. Тургенева — все одинаково конфузятся от этих вопросов — не очевидно ли, что все они люди одного и того же разряда, все — портреты с одного и того же типа. Если бы продолжить такое следствие и допросить по двум вышеприведенным пунктам героев Шекспира и Лопе де Веги, Гете и Корнеля, Байрона и Софокла, все они были бы точно так же переконфужены, не умели ничего отвечать в свою защиту, оказались бы подходящими под один и тот же тип «людей не трудящихся и не гармонирующих с обстановкою», — словом сказать, оказались бы ни

более, ни менее как переделками лермонтовского Печорина и вместе с ним подверглись бы строгому осуждению.

Вот до каких результатов доводит даже умного человека желание построить систему на основании не понятой им мысли.

Достигнув открытия, что главные действующие лица г. Тургенева «не гармонируют с обстановкою», он не считает уже нужным рассматривать, действительно ли эти лица изображали г. Тургеневым как идеалы, как люди, безукоризненно действующие и вполне удовлетворяющие своими поступками его воззрению на жизнь, — или г. Тургенев изображал своего Вязовкина, Рудина и проч. вовсе не идеальными, а простыми людьми, имеющими и дурные и хорошие качества, поступающими в иных случаях умно и благородно, в иных ошибочно, — нет, он воображает, что все они были идеалами автора, и каждое их слово принимает выражением понятий самого автора.

Если не объяснять эту ошибку запутанностью понятий, до которой довела его система «гармонии с обстановкою», то мы не знаем, чем и объяснить ее. Да и вообще мы не можем объяснить многих мест в статье г. Дудышкина никакими литературными основаниями. Она производит самое странное впечатление, — видно, что критику хочется сказать что-то такое, чего он не решается высказать прямо, видно, что он старается как-нибудь примирить те суждения, которые принадлежат исключительно ему, с мнением, которое непоколебимо утвердилось в публике о произведениях г. Тургенева. Он кружится около мысли, которую хотел бы, но не отваживается высказать, намекает на нее, — старается особенно распространяться о тех произведениях г. Тургенева, которые слабее других, — о лучших его произведениях он или старается сказать как можно меньше, или вовсе не говорит, — видно, что ему хочется пошатнуть нечто такое, до чего неловко ему коснуться. Видно, что ему хотелось бы возобновить суждения «Москвитянина» и «Московских сборников» о таланте и произведениях г. Тургенева⁴, но что он не решается этого сделать... Почему же бы не говорить прямо? Или опасение возбудить против себя общественное мнение мешает ему сделать это? К счастью, у нас есть общественное мнение. Оно слабо, — но все-таки оно уже приносит большую пользу нашей литературе, — теперь никто не отважится открыто восставать против таланта, признанного общественным мнением. Великое дело общественное мнение.

Мы не заговорили бы вовсе о январской книжке «Отечественных записок», если бы кроме вещей, которых нельзя одобрить, не должны были указать в ней другую статью, достоинства которой заставили нас обратить внимание на эту книжку. Мы говорим о «Богдане Хмельницком» г. Костомарова⁵.

«Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» — обширное историческое сочинение, которое должно упрочить за ученым автором одно из первых мест между нашими

историками. Трудолюбивых исследователей у нас довольно много; но мало людей, которые по всей справедливости заслуживали бы имя замечательных ученых, потому что для этого мало трудолюбия и учености, — нужна, кроме того, особенная сила ума, нужна широта и проникательность взгляда, нужно соединение слишком многих и слишком редких качеств. Своим «Богданом Хмельницким» г. Костомаров доказал, что принадлежит к подобным людям.

История возвращения Малороссии к русскому царству, представляя великий интерес по важности предмета, с тем вместе требует и большого критического таланта, потому что ее события дошли до нас в виде, искаженном пристрастием поляков, малорусов и великоруссов. Многие несправедливые мнения и о характере лиц, и о смысле событий укоренились до такой степени, что трудно победить в себе предубеждения, ими поселенные. Г. Костомаров счастливо боролся с этою трудностью, — он очистил историю времен Богдана Хмельницкого от множества ошибочных взглядов и ложных рассказов. Внимательно и полно изучил он источники, из которых многие в первый раз открыты его неутомимыми изысканиями, проверил каждый факт, каждое слово, обнаружил истинные отношения лиц, сословий и племен, о которых мы до сих пор имели самые сбивчивые понятия, и, наконец, передал результаты своих изысканий в блестящем, истинно драматическом рассказе, совершенно объективном. Ученые оценят в его сочинении ученость, беспристрастие, проникательность и верность взгляда; большинство публики прочтет его историю с жадностью, по увлекательности изложения, в котором г. Костомаров едва ли имеет себе соперников. Мы надеемся не один раз возвратиться к его сочинению, которого только начало помещено в январской книжке «Отечественных записок». Теперь мы скажем только, что очень давно не читали на русском языке ничего подобного.

Кроме «Богдана Хмельницкого», надобно заметить в январской книжке «Отечественных записок» статью г. Забелина «Черты русской жизни в XVII-м столетии», отличающуюся достоинствами, которые мы привыкли находить во всех его исследованиях.

Мы не могли не хохотать от души, читая первую часть повести «Столичные родственники», которую г. Григорович, исполняя свое обещание, поместил в «Библиотеке для чтения» (№ 1). Это водевильный, шаржированный рассказ, с начала до конца проникнутый легкою, неподдельною веселостью, — рассказ без всяких претензий, кроме одного желания нарисовать несколько живых карикатур. Промотавшися Фуфлыгины, с тремя тысячами серебром, оставшимися после продажи имения, отправляются в Петербург, по совету столичных родственников, в надежде поправить свои дела, получив выгодное место. И вот они из экономии едут по железной дороге в третьих местах, а между тем желают сохранить аристократический тон, даже, если можно, показать на

станциях, что они едут в первом классе, — этим начинаются их приключения. Дружеский разговор самого Фуфлыгина с соседом, который кажется ему и его супруге столичным львом, а оказывается лакеем какого-то графа, потом дружба мадам Фуфлыгиной с дамою, которая объясняет, как она, женщина, благородное, возвышенное создание, увлекалась в жизни, и между прочим, жила с извергом-стариком, который приревновал ее, благородное, возвышенное создание, к молодому человеку, у которого деликатная натура, — затруднительное положение г-жи Фуфлыгиной в семейном вагоне, который занят хорошенькою женщиною с двумя поклонниками ее прелестей, и изгнание г-жи Фуфлыгиной из этого вагона зорким кондуктором — все эти сцены забавны, рассказаны живо и весело, а потом сцены между Фуфлыгиными и юным львом Коко, их родственником, развязно объясняющим Фуфлыгину, при его супруге, что г-жа Фуфлыгина очень хорошо сложена, и потом приглашающим своих новопроезжих родственников провести вечер у Дюссо, куда он привезет одну очаровательную женщину, — потом этот несравненный Пигунов, другой родственник Фуфлыгиных, человек с нежным сердцем и страстную любовью к своей доброй жене, ангелу жене, с биением себя в грудь рассказывающий всем, как он мучится страданиями ангела жены, в которых признает себя виновным, при этом выпрашивающий у всех деньги, чтобы прокормить жену и детей, и потом пропадающий с деньгами, оставляя ангела жену без гроша, — наконец, третий родственник Фуфлыгиных, практический и благонамеренный Мирзоев, объясняющий, как он сам получил и как Фуфлыгин должен получить через просьбу жены доходное место при какой-то компании на акциях — все эти сцены ведены быстро и весело, все эти лица кажутся живыми, знакомыми, несмотря на то, что шаржированы. А жалкая ангел жена нежного Пигунова, бедно одетая, больная женщина, с ячменем на глазу и голодными, оборванными детьми около себя, напоминает вам, что всякая пошлость и глупость одного из нас отзывается страданием на другом... и вы предчувствуете, что скоро придется плохо и самим Фуфлыгиным. Что-то будет с этими провинциальными чудачками среди Пигунова, Коко, Мирзоева и столичной дороговизны во всем?

«Столичные родственники» — едва ли не самый удачный из всех шуточных рассказов г. Григоровича.

Читатели наши, вероятно, еще помнят превосходную статью г. П. «Об обязанностях старшего офицера на корабле», которая была помещена в одной из книжек «Морского сборника» за прошедший год, и отрывки из которой мы приводили в наших «Заметках» («Современник», 1856 г., № 8). Они, вероятно, помнят, что по вопросу, возбужденному г. П., началось в «Морском сборнике» одно из тех литературных прений, которые мы хвалили столько же за пользу, приносимую ими разъяснению дела, сколько и за благородный тон, в котором делались возра-

жения и ответы на возражения. В январском номере «Морского сборника» помещена под заглавием: «Еще несколько слов моим сослуживцам», вторая статья г. П., служащая ответом на некоторые сделанные ему возражения. Автор пользуется этими возражениями, как случаем для того, чтобы расширить круг своих прежних замечаний, и в новой своей статье, от вопроса об обязанностях старшего офицера, переходит к вопросу об обязанностях его непосредственного начальника, командира корабля. Он говорит с прежним знанием дела, с прежнею благородною силою и откровенностью. Вот некоторые отрывки из его новой статьи:

«Дурно поступает командир корабля (говорит г. П.), если держит при себе старшим офицером человека незнающего или неспособного. Следствия этой несправедливой потачки вредны; неспособный человек остается на службе, делается заслуженным офицером, начальство, считая его, по отзывам командира, хорошим офицером, думает, что надобно, наконец, наградить его за долгую и полезную службу повышением в команде. — Что ж бывает тогда?

«Несмотря на свою неспособность или неблагонамеренность, старший офицер, благодаря доброте командира, продолжает занимать свой пост. Приходит время, и начальство, судящее большею частью о подчиненных по отзывам их командиров, редко прислушиваясь к общей молве, находит совершенно справедливым дать старшему офицеру под команду какое-нибудь судно. Это назначение, прежде всего, глубоко оскорбляет тех людей, которые сами видели действия старшего офицера, знают его насквозь и имеют полное право считать себя и умнее, и дельнее, и достойнее его. Начинаются пересуды, толки, результатом которых обыкновенно является убеждение, что при выборе командиров не обращается внимание на действительные достоинства, а делается это как придется и что поэтому незачем очень горячиться на службе; живи себе смиреннько, веди себя скромненько, умеи во-время притти к начальнику пошаркать, пообедать, — придет время, будешь командиром. И это правило начинают прилагать к делу. Между тем, новый командир, получив это назначение, не сделался ни сведущее, ни благонамереннее, а однако ж, в нем есть настолько самолюбия, чтобы стараться всеми силами скрыть перед новыми подчиненными своими свое незнание. Поставить свое судно на надлежащую ногу, ввести порядок, быстроту и отчетливость в работе, привязать к себе своих подчиненных и приохотить их к службе он не умеет; внутренне сознавая свои недостатки и незнание и, однако ж, видя себя занимающим значительный пост, он невольно сомневается в способностях и знаниях своих офицеров, мерит и их на свой аршин. Отсюда недоверчивость ко всем, начиная с старшего офицера, которого он свяжет по рукам и по ногам и поставит в самое странное положение. Ни одно приказание не отдается положительно, ясно и отчетливо; приказывают так, чтобы в случае надобности можно было отговориться и свалить всю вину на подчиненного, который будто бы не понял приказаний или переврал их. Во всех распоряжениях командира невольно проглядывает нерешительность, боязливость. Малейший стук наверху приводит его в содрогание, он ежеминутно ожидает какого-нибудь несчастья, внезапной беды. В то же время его неотступно преследует мысль, что подчиненные разгадают неспособность его и незнание, воспользуются этим открытием, чтобы подводить командира под ответственность, потеряют к нему уважение, не станут его слушаться. Преследуемый этими мыслями, командир употребляет неслыханные усилия, чтобы убедить всех в своем умении и познаниях. Зная, что, вмешиваясь в вещи несколько посерьезнее, непременно наделает ошибок, он пускается в мелочи, не замечая, что и тут делает промах за промахом. Деятельность его сосредоточивается на метении палуб, причем строго требуется, чтобы люди, идущие с голикками,

равнялись между собою и непременно разделялись поровну на каждую стору; и проч. и проч. Между тем, он сам чувствует, что поминутно делает вздор, и сознание это его более раздражает; он становится брюзглив, капризен; всякая улыбка кажется ему насмешливою, всякое слово — колючею, всякий ответ — дерзостью, неуважением. Тяжело приходится и командирам и офицерам, которых бесит придирчивость и вечная суетливость начальника, давно разгаданного вдоль и поперек». («Мор<ской> сборн<ик>», № 1, Часть неофиц., стр. 6—7.)

Некоторые командиры кораблей любят окружать себя точными исполнителями своих приказаний (продолжает г. П.), людьми, не рассуждающими — полезно ли это?

«Какой пользы может ожидать служба от таких людей, тяжелый ум которых с ранних лет приучен к совершенному бездействию, которые не могут иметь собственного мнения и решительно лишены способности правильно мыслить и рассуждать? Что нужды в том, что они добросовестные работники!.. Слепые орудия, они бессознательно, хотя и в точности исполняют чужую волю и теряются, как только обстоятельства заставляют их действовать по собственному соображению. Привыкая постепенно руководиться чужими указаниями, они невольно убеждаются, что сами собой ничего путного сделать не могут, и последние способности, последняя искра самостоятельности в них угасают невозвратно, между тем как недоверчивость к собственным силам развивается до высшей степени, а бессознательный страх ответственности удерживает всякий порыв, всякое невольное стремление. Уставы и положения — вот магический круг, за пределами которого они видят только хаос и безначалие. Отнимите у них уставы, заставьте их действовать по собственному разумению — и голова у них закружится, оледенеют и последние способности. Конечно, и эти господа могли бы иногда действовать (и не совсем дурно), если бы смолodu им не старались внушить идею, что мыслить и рассуждать вредно, что надо только исполнять, а думать за них будут другие. Это ложное толкование дисциплины приводит их к тому, что они действительно лишаются способности мыслить и делаются какими-то живыми машинами, которых единственный двигатель — воля старшего. Вот один из многих примеров, который может подтвердить наши доводы.

«Назад тому много лет, жил-был на белом свете очень добрый и почтенный человек, без больших способностей, не честолюбивый, словом, человек, каких не мало на нашей пространной планете. Скромненько начал он свое служебное поприще, не мысля ни о блестящей будущности, ни о славе, богатстве и почестях, достоящихся в удел некоторым баловням фортуны. Великих способностей в нем не проявлялось, и он, свыкнувшись с мыслию, что ему

Судьбою вечной
Низкий положен предел, —

безропотно оставался в тени, между дюжинами чернорабочих. Но он обладал великим достоинством, которое не могло остаться незамеченным, — он был необыкновенно точен в исполнении каких угодно приказаний и совершенно лишен способности иметь о чем бы то ни было свое собственное мнение. Служил он, таким образом, не гоняясь за толчками и придерживаясь пословицы, что брань на ворота не виснет, смиренно переносил часто и незаслуженные выговоры и замечания. И вот, шагая потихоньку, помаленьку, он в один прекрасный день сделался и сам командиром, а там через несколько лет, к величайшему своему удивлению, поднял флаг на край-брам-стенге линейного корабля. Но тут-то и явилась запятая, — пришлось доброму человеку стать в такое положение, что уже нельзя было отвечать постоянно: «слушаю-с!»: приходилось по временам говорить: «слушайте!», а в этом-то и задача. Однако ж, благодаря неисчерпаемым щедротам провидения, дела нашего героя шли себе недурно, пока не случилось неожиданное происшествие.

Понадобилось как-то высадить на неприятельский берег десант и для перевозки войск этих назначить небольшую эскадру. Выбор пал на нашего добросовестного работника. Сначала все шло прекрасно, эскадра благополучно прибыла на место, встала на якорь и все предположения относительно дебаркации сделаны. Но тут явился вопрос: что если высадка будет неудачна? Как взять на себя такую ответственность? Что если в распоряжениях сделан какой-нибудь промах? За одним сомнением явилось другое, а на беду, высшего начальства под рукою не обретается. Подумал наш труженик, да и послал к главному начальнику донесение, что эскадра пришла, мол, на место благополучно и высадку предположено сделать так и так, на что и ожидают дальнейших приказаний. Главный начальник, находившийся далеко и с минуты на минуту ожидавший депеши, что высадка сделана, — был совершенно поражен полученным донесением. Не медля ни минуты, посылает он приказание сейчас же приступить к свозу десанта, а эскадренному начальнику объявляет строжайший выговор, объясняя, что, получив отдельное командование, он должен действовать своим умом, по своим личным соображениям, а не спрашивать советов или разрешения за несколько сот миль. Прочитав грозную депешу, добросовестный работник, кажется в первый раз в жизни, вышел из себя. «Что прикажете делать!..» — сказал он, с досадой обращаясь к находившимся вблизи офицерам. — «Тридцать пять лет мне постоянно твердили: не рассуждай! — а теперь говорят: рассуждай!.. Да откуда же, прости господи, я возьму рассудка!» (стр. 13—15).

Кроме нерасчетливой доброты, есть разные причины, по которым держат на службе людей неспособных; одна из них — уважение к протекциям; есть и другая причина:

«Есть еще другая причина, по которой командир покровительствует иногда бездарности и прокладывает дорогу людям неспособным. Причина постыдная, бросающая на командира самую черную тень, действующая прямо ко вреду службы, к разрушению дисциплины. Мы говорим о наущничестве. К счастью, у нас подобные случаи редки, и для чести нашей надо надеяться, что со временем они исчезнут совершенно. Однако ж, решившись в статье этой указать на главнейшие слабости, у нас существующие, мы не можем умолчать об этой гнусной ошибке. Ей предаются обыкновенно люди недоверчивые, подозрительные, не постигающие вреда, приносимого подобной системой, не имеющие достаточно благородства, чтобы оценить ее грязную сторону и не довольно дальновидные для того, чтобы постигнуть, что, в сущности, такая система и им самим не приносит желаемой пользы. Главный двигатель их в этом случае — эгоизм. Избавляя себя от труда ознакомиться ближе с своими подчиненными, узнать хорошенько их хорошую и дурную стороны, они без разбору уверяют управление отдельными частями людям, к которым не имеют доверенности. Привыкнув к тому же во всем видеть черную сторону, они совершенно уверены, что рано или поздно, а без злоупотреблений со стороны их подчиненных не обойдется. Может быть, они и не обратили бы внимания на эти злоупотребления, если бы не опасались сами подвергнуться за них большей или меньшей ответственности; и вот, устроив систему наущничества, они надеются, что узнают о злоупотреблениях еще во-время, чтобы их прекратить. Только расчет их в этом случае не всегда верен. Если бы командир сам следил надлежащим образом за своими подчиненными, знал их наклонности и взгляд на вещи, он скоро заметил бы, если бы кто-либо из них начал отклоняться от прямого пути действовать недобросовестно, и тогда добрым советом, а подчас энергическими мерами, он мог бы не только остановить зло в самом начале, но часто и предупредить его. Но для этого нужно усугубить деятельность, увеличить собственный труд, и, избегая этого, находят проще иметь наущников. Приняв это похвальное решение, командир приступает к приведению в действие своих мудрых планов. Выбор падает обыкновенно на человека, не имеющего репутации хоро-

шего служивого и не обладающего значительным запасом ума и познаний. Разглядев его поближе, командир скоро узнает шаткость его понятий о чести и считает находку свою особенно драгоценною, если видит, что избираемый им агент нелюбим товарищами, часто слышит их насмешки и, следовательно, более или менее озлоблен. Отыскав такого господина, командир скоро привлекает его на свою сторону и делает его своим главным агентом. Расчет нового наушника верен: от товарищей он не может ожидать ни привязанности, ни уважения, потому что они, как бы по инстинкту угадывая его грязные наклонности и подленькую натуру, видя притом его бездарность и совершенное незнание дела, — давно уже вытеснили его из своего круга и при всяком удобном случае не жалеют, в обращении с ним, ни насмешек, ни даже грубостей. Сознывая притом, что без посторонней помощи ему никогда не выйти в люди, — он без стыда принимается за новую роль, зная, что командир, имея в нем нужду, непременно выгадит его вперед. И точно, командир, внутренне презиравший своего избранника, прокладывает ему, однако ж, дорогу, толкает его вперед, при всяком удобном случае рекомендует его начальству как прекрасного и деятельного офицера. Только напрасно командир надеется на верность и преданность своих агентов. Они служат ему, пока он им нужен или имеет над ним непосредственную власть. Найдись человек, который предложит им более выгод, и они, не задумываясь, продадут своего прежнего благодетеля и покровителя. Между тем, едва в команде установится система наушничества, как дисциплина получает жестокий, смертельный удар. По наружности кажется, что все идет отлично, но взгляните поближе, и вы увидите совершенно противное. Как ни скрытно действуют командирские агенты, но в команде уже чувствуют их влияние. Каждый подозревает своего товарища и страшится за себя. Боцмана, урядники и даже офицеры начинают смотреть сквозь пальцы на разные упущения по службе, не выскивают с виновных с надлежащею строгостию, опасаясь нечаянно восстановить против себя одного из тайных агентов и таким образом навлечь на себя хлопоты и неудовольствия. И вот вместо дисциплины, вместо единства в действиях, так полезного для службы, вместо спокойного и строгого порядка, являются личности, интриги и беспрестанные неудовольствия; уважение к начальнику исчезает, так же как и согласие между подчиненными. А недалновидный командир радуется этой разладице, утешая себя мыслью, что теперь от него уже ничто не будет скрыто, что сопротивление он не встретит нигде, потому что имеет возможность легко сломить всякую разъединенную волю. Но когда настанет минута, в которую понадобится содействие всех для общего дела, когда придется действовать всем одною волею, как один человек, тогда только командир заметит свою ошибку; все начнет ускользать из рук его, повсюду он встретит равнодушие, холодность и явное нежелание ему содействовать. Тогда только поймет он, как важны для начальника любовь и уважение подчиненных. Но исправить ошибку уже будет поздно, — и пойдет дело вперед с такой же быстротою, как воз, возимый лебедем, щукой и раком. Недолго отдалить от себя дельных и полезных сотрудников, каково-то после их снова к себе привязать. А между тем, в этом общем хаосе, выдвинулась вперед одна личность, — бездарного наушника. Страдает служба, страдают дисциплина и порядок, тяжело всем, и начальнику, и подчиненным, только один наушник в выигрыше, потому что, благодаря своему покровителю, сделал вперед несколько таких шагов, о которых при других обстоятельствах не смел бы и думать. Иногда командир и заметит, что промахнулся, да дело уже не поправишь, и, стыдясь сознаться в уродливости своего создания, употребляет все усилия, чтобы вспенивать до-нельзя малейшее его достоинство; а создание это идет себе вперед, внутренне посмеиваясь над усилиями своего начальника. И вот каким образом составляется иногда карьера. К чести нашего мундира надо сказать, что если в кругу нашем и встречались подчас подобные личности (в семье не без урода), то это были только редкие исключения, и зато общественное мнение клеймило их беспощадно. Как ни грустно говорить о подобных вещах, мы, однако ж, должны были развить эту тему пред нашими читателями, дабы показать, что при системе тайных

донесов страдают и дисциплина, и служба. Побуждаемый эгоизмом, недоверчивостью и подозрительностью прибегнуть к помощи наушников, командир принужден выслушивать самые грязные истории, самые мелочные интриги, и в этом мусоре он роется ежечасно. Всякая насмешка на его счет, неосторожно сказанная кем-либо из подчиненных, всякое ругательное слово доходят к нему по адресу, и подчиненные часто нарочно говорят об нем дурно при тех лицах, которые подозреваются в *наушничестве*, или, как они выражаются: *в родстве с капитаном*. И, выслушавшая все эти неприятности и дразни, командир если и выигрывает что-нибудь, то, конечно, уже в ущерб общему делу, в ущерб своей совести, своему спокойствию, своей чести, на которой всегда остаются следы зловонной тины, в которой он плещется».

После этого, г. П. говорит, что излишняя строгость не менее вредна, нежели излишняя мягкость и снисходительность, и потом переходит к так называемым «безгрешным» доходам:

«Выше сказали мы несколько слов о том благодатном влиянии, которое имеет общественное мнение. Мы совершенно уверены, что никакие учеты и строгие меры не в состоянии прекратить тех злоупотреблений, которые мало-помалу вкрались во все администрации, незаметно облеклись в форму законности и сделали для целого общества хроническою болезнью, неприятность и разрушительное действие которой все чувствуют и понимают и которую, однако ж, переносят терпеливо, как необходимое зло. Между подобными недугами есть один, о котором мы намерены сказать несколько слов, — это слабость к приобретению безгрешных доходов. Вот в этом случае только одно общественное мнение и может быть радикальным средством к исцелению. Это видно на деле между нашими моряками. Привычка к товариществу породила общественное мнение, которое если по временам и дремало, то, по крайней мере, никогда не засыпало совершенно и часто пробуждалось неожиданно, в такие минуты, когда этого менее всего можно было ожидать. Неловко приходилось тогда неосторожным, насмешки и эпиграммы не щадили ничьей личности и выставляли на суд света такие действия, которые, казалось, навесело были прикрыты завесою тайны и терялись в формальностях официальных учетов. Вот почему между морскими офицерами встречалось мало охотников до *безгрешных доходов*. Заметьте, что мы говорим собственно о людях, выросших в одном кругу, составляющих отдельную семью морских офицеров, в которую не входят мелкие труженники, имеющие свои понятия, свой взгляд на вещи, свои убеждения. Конечно, в семье не без уroda, и во все времена находились индивидуумы, предпочитавшие окольные пути прямой дороге; но зато им и принадлежали по праву названия *угольщиков*, *пиратов* и тому подобные эпитеты, очень верно определявшие занятия этих господ. Не общественное ли мнение, не опасение ли насмешек со стороны товарищей и прежних сослуживцев удерживали многих от поступления на так называемые хлебные места?»

Утешительно слышать последние слова от свидетеля столь правдивого и откровенного, как г. П. Если он говорит, что в нашем черноморском флоте (он, очевидно, говорит о черноморском флоте) противозаконное корыстолюбие было явлением редким, исключительным, что огромное большинство командиров и офицеров этого флота гнушались всякими незаконными источниками доходов, то его словам можно верить, и они прибавляют еще новую славу к военной славе этих доблестных защитников Севастополя. Вот одна из выгод, приносимых откровенностью не только общему делу, но и доброй славе людей: все верят похвалам от того, кто не скрывает и недостатков.

Февраль 1857¹

<«Экономический указатель». — «Теория и практика» Бабста. — «Опыт изложения главнейших условий успешного сельского хозяйства» Струкова. — «Старая барыня» Писемского.>

Угодно ли вам, читатель, выслушать историю о «голоде в Багдаде при Гаруне-аль-Рашиде»? Это история не из «Тысячи и одной ночи», а из «Экономического указателя», на который хотим мы обратить ваше внимание.

Случился, видите ли, неурожай в Багдадской области, а за неурожаем, по обыкновению, последовал голод, — дело очень натуральное, но вовсе не приятное. Созвал Гарун-аль-Рашид своих мудрых советников, спрашивает их, как помочь горю? «Привезти хлеб из тех областей, где урожай был хорош», — говорят советники. Сказать легко, а исполнить трудно: дороги в гаруновом царстве были плохи, — будь хорошие дороги, пожалуй, подвезли бы запас скоро, а теперь, если и повезут, то нескоро доведут. Увидел Гарун-аль-Рашид, что надобно построить хорошие дороги, — но когда-то еще успеешь их построить, а дело не терпит отсрочки. Как быть? По обычаю, пошел ночью халиф бродить по улицам Багдада, чтобы посмотреть, как живет народ, послушать, что он говорит. Услышал он разговор старика с молодым человеком. «Беда! — говорит молодой человек: — дорог хлеб!» — «Можно бы этой беде помочь, — говорит старик: — установить, чтобы ни один хлебопек не смел продавать хлеб дороже прежней дешевой цены». Умна показалась речь старика Гаруну-аль-Рашиду; поутру он установил таксу на хлеб. Прошло несколько недель — вбегает к халифу визирь с испуганным видом и говорит: «Нет в Багдаде ни одного зерна хлеба на базаре, и народ страдает пуще прежнего. Торговцы и богачи, имеющие запасы, не хотят продавать их по таксе и попрятали в подвалы свой хлеб». — «Что ж делать?» — говорит Гарун-аль-Рашид. «Отмени таксу», — говорит визирь. Гарун-аль-Рашид послушался и отменил таксу. Теперь пусть сам «Экономический указатель» говорит, что было далее:

«Ужаснулся народ, узнав о таком решении своего властелина, не понимая, что было причиной такой перемены. Начались опять бедствия, худшие, чем прежде, потому что хлебники подняли цены несравненно выше, чтобы вознаградить себя за убытки и опасности, которым они подверглись. Гарун-аль-Рашид знал, как страдает народ, но делать было нечего: он уж опытом убедился, что, назначив цены, вместо пользы сделал вред. Уж если из двух зол выбирать меньшее, то пусть народ ест мало, да как-нибудь доживет до привоза припасов, нежели съест сегодня много, чтобы завтра быть без хлеба. Так и случилось. Хотя народ крепко бедствовал, но все же кое-как прожил, и Гарун-аль-Рашид пришел к тому убеждению, что для того, чтобы спасти народ от голода, нужна не такса на предметы первой необходимости, а хорошие дороги, по которым можно было бы быстро пере-

возить съестные припасы с одного места на другое, и торговая предприимчивость между купцами, которые откладывали бы из своих выгод сколько можно хлеба в дешевые годы, на случай голода, а следовательно и высоких цен».

Мы выбрали эту незначительную статью, разбором которой не может оскорбиться «Экономический указатель», чтобы сказать наше мнение о системе *laissez-faire*, которой, повидимому, «Экономический указатель» не столько опасается, сколько надобно желать и для пользы русской публики, и для пользы самого журнала.

Нет в мире такой науки, которая была бы скучнее политической экономии в том смысле, какой придан ей школою так называемых французских экономистов, иначе сказать последователей Сэ. У них политическая экономия имеет страшно отвлеченный характер. Им мало дела до того, какие именно вопросы имеют существенную важность для той или другой страны в известное время, — так они заняты своей односторонней теорией. Кстати и не кстати вечно твердят одно и то же: «не стесняйте конкуренцию, не устанавливайте такс» — таков смысл и сказки, которую мы взяли примером для разбора этой теории.

Мы, русские, ровно ничего не выиграем от этого нравоучения. Таксы не имеют важного значения в нашем экономическом быте. А последователи Сэ готовы толковать о вреде такс, которого мы, русские, вовсе не чувствуем (если только благоразумно устанавливаемые таксы действительно могут приносить вред, в чем еще не все или, лучше сказать, уже не все ученые согласны). Вопрос о таксах вовсе не принадлежит к числу живых, интересных для русского общества. Какая же нам будет охота слушать толки о нем? Говорите нам о способах улучшить наше земледельческое производство, говорите о способах расширить сбыт фабричных произведений в нашем сельском населении, которое теперь очень мало их покупает. Эти вопросы для нас важны; но теория последователей Сэ очень мало занята ими, а вечно твердит о вреде такс. Может ли она возбудить живо интерес в нашем обществе, имея страсть хлопотать о предметах маловажных для нас и не обращать внимания на предметы, существенно интересующие наше общество? Предаваться ей значило бы вперед отказываться от живого сочувствия публики.

Но мало того, что теория Сэ мертва для нас. Она сама по себе поверхностна и фальшива. В науке это уже давно доказано. Для тех, которые не имели случая узнать об успехах, сделанных наукой со времен Сэ, мы покажем поверхностность и фальшивость его теории разбором сказки, ей порожденной и переданной нами выше со слов «Экономического указателя».

Какой урок извлекают жители Багдада из перенесенного ими бедствия? — «Надобно улучшить дороги и не надобно устанавливать такс». Какой бедный, неполный урок! Видно, что жители

Багдада — люди, отставшие от века. Если бы между ними был человек, знакомый с политической экономией не по одному Сэ, а по новейшим исследованиям, он повел бы с ними речь следующим образом.

В Багдаде был страшный голод. Как могло это случиться? — У нас был неурожай. — Но ведь при жестоком неурожае сбор хлеба все-таки равняется двум третям обыкновенного сбора. Разве вы имеете в обыкновенные годы так мало хлеба, что едва достаёт вам на пропитание? Иначе, если бы вы, например, производили хлеба в обыкновенные годы в полтора раза более, нежели нужно для вашего пропитания, вы не терпели бы голод, когда сбор оказался одной третью менее обыкновенного. — «Да, действительно, мы и в обыкновенные годы кушали хлеба меньше, нежели бы хотелось нам». — Почему же так? Разве у вас мало земли? — «Нет, земли у нас довольно». — Значит, она неплодородна? — «Нет, земля у нас хороша». — Стало быть, у вас земледелие в дурном состоянии? — «Правда». — Итак, друзья мои, старайтесь улучшить ваше земледелие. Это пригодится вам не только на случай неурожая (тогда и при неурожае вы не будете слишком голодны), но и в обыкновенные годы; вы теперь едва кормитесь, а тогда будете жить в избытке. Так ли? Надобно вам улучшить ваше земледелие? — «Надобно». — Так подумаем же вместе, как бы вам приняться за это. — И он объяснил бы жителям Багдадской области, какие экономические отношения должны быть изменены, чтобы земледелие могло улучшиться.

Это нравоучение полезнее и ближе к делу, нежели речь о таксах.

«Гарун-аль-Рашид хотел купить для нас хлеба в соседних областях, да перевезти его нельзя было бы скоро, потому что дороги у нас плохи», — говорят багдадские жители своему советнику. «Как! у вас нет хороших дорог? Значит, вы народ беспечный, если не позаботились давно об этом важном деле. Какие же причины сделали вас такими беспечными людьми? Надобно исследовать это». И началось бы объяснение экономических отношений, развивающих в народе беспечность.

Это нравоучение также полезнее и ближе к делу, нежели речь о таксах.

«Мы очень бедствовали, и помочь было нельзя: таксы не помогли», — продолжают жители Багдадской области. — Но ведь, кроме такс, существует множество способов помочь народу во время голода, — замечает их собеседник: — укажу вам хотя один: во время голода объявляют хлебникам, что они должны продавать фунт хлеба по прежней дешевой цене; а разницу между дорогой ценой и обыкновенной будет им приплачивать город, — для этой цели можно сделать особенный заем. Это средство испытанное.

«А таксы действительно бесполезны или даже вредны?» —

страшивают любопытные багдадцы. — Прежде так думали все ученые, — отвечает им их собеседник, — а теперь многие, самые ученейшие и глубокомысленнейшие люди, напротив, доказывают, что разумная таксация — один из лучших способов значительно улучшить экономический быт народа. — И он объяснил бы им теорию таксации, принимающей за основание ценности вещей стоимость их производства.

Таким образом, он доказывал бы им, что если Гарун-аль-Рашид не мог установить таксу на хлеб, так это потому, что не умел приняться за дело как следует; да и без такс имел бы средства помочь народу, если бы знал открытия, сделанные наукой.

Мы обратили внимание на эту сказку о Гаруне-аль-Рашиде потому, что она явилась в № 1-м «Экономического указателя», как бы предвестницей направления, которого будет держаться журнал, — к счастью, многие из последующих статей не оправдывают этого предзнаменования. В семи номерах, которые мы прочли, находится не одно исследование, касающееся предметов очень интересных. Особенно мы заметим статьи о железных дорогах г. Вернадского, Гегемейстера, г. Д. Г.; «Теория и практика» г. Бабста и «Опыт изложения условий сельского хозяйства» г. Струкова.

«Умный купец, порядочный чиновник чувствует, ежели не у нас, то везде, по крайней мере, что без науки, без образования каждый шаг тяжел и труден (говорит г. Бабст). — Необходимость экономического образования сознает в настоящее время в Европе каждый рабочий» — надобно желать, чтобы то же самое было и у нас. Но распространить охоту знакомиться с политической экономией нельзя отвлеченными рассуждениями о банкирских операциях, необходимости безграничной конкуренции и предоставления экономическим отношениям полной воли развиваться под влиянием одностороннего принципа конкуренции, в зависимости от банкирских операций. Чтобы возбудить интерес к себе, наука должна говорить преимущественно о вопросах, имеющих для страны наибольшую важность. Если «Экономический указатель» будет держаться этого правила, он принесет очень большую пользу своему делу, — делу распространения у нас экономических понятий. Статью г. Бабста нельзя упрекнуть в том, чтобы она не удовлетворяла этому требованию.

Тема его — разъяснение побуждений, по которым очень многие восстают у нас против политической экономии, — тема очень живая, потому что, действительно, недостаток уважения к науке — один из главных наших недостатков. Коренною причиною вражды, чувствуемой многими к науке, он справедливо считает то, что ее выводы противоречат эгоистическим и близоруким желаниям невежд. Но он так добросовестен, что не умалчивает и о другой причине недоверчивости к теории, — «теоретики часто вредят себе и благому делу народного развития своей исключительно-

стью и неумолимостью». Иногда они воображают, что, сказав: «цена зависит от отношения между запросом и предложением», — «конкуренция не должна быть ограничиваема ни под каким видом» — они уже высказали всю истину и дали рецепт для извлечения всех экономических болезней, — они часто забывают, что безграничная конкуренция (новейшая форма средневекового кулачного права) ведет к монополии, против которой сами же они так восстают; и что, так как человек есть не экономическая машина, а живое существо, одаренное, с одной стороны, различными потребностями, а с другой — разумом, то и над слепым, неразумным и безжалостным принципом отношения между запросом и предложением должен в человеческом образе возвышаться другой принцип — закон удовлетворения естественным потребностям человека и разумной организации экономических сил. Воображая, что все наилучшим образом устраивается без вмешательства разумной воли, одним инстинктом промышленников, они тем самым отвергают необходимость теории и признают ненарушимость практики.

Г. Бабста нельзя упрекнуть в такой односторонности. Он признает, что наука должна принимать в соображение жизненные потребности человека, и прилагает это правило к делу. Статья его наполнена не алгебраическими формулами, а живыми объяснениями фактов нашей экономической жизни. Он говорит о состоянии нашего земледельческого производства, о монопольном характере нашей промышленности и торговли и т. д. Таких живых статей, как его «Теория и практика», надобно желать больше.

Такого же внимания заслуживает статья г. Струкова: «Опыт изложения главнейших условий успешного сельского хозяйства». Она написана не с отвлеченной точки зрения, говорит не о вреде так и тому подобным более или менее бесполезных предложениях, а о том, до какой степени благоприятны для экономического развития те условия, в которых производится у нас земледельческий труд. Такие исследования будут всегда читаться с интересом, и только они могут действительно быть полезны делу распространения здравых научных понятий.

О железных дорогах в первых семи номерах «Экономического указателя» помещен уже целый ряд статей. Замечательнейшая из них — «Заметки о железной дороге» г. Д. Г. Кроме того, заметим «Письмо г. редактору «Экономического указателя» г. Гагемейстера и «Нечто о средствах сообщения» г. Вернадского².

Из разных проектов, имеющих целью дополнить второстепенными линиями ту сеть железных дорог, о построении которой уже заключен правительством контракт, г. Вернадский наиболее важными и наиболее исполнимыми считает три линии: 1) от Рыбинска к Верхнему Волочку; 2) от Киева до Одессы; 3) от Москвы на Моршанск. Нет сомнения в том, что эти дороги очень важны, но чтобы доказать решительное преимущество их перед

всеми другими линиями, необходимо подкрепить более точными и подробными доводами общие соображения, представляемые в их пользу г. Вернадским.

Г. Гагемейстер, в «Письме к редактору», доказывает, что едва ли можно рассчитывать на доход, много превышающий пять процентов в первые годы по сооружении линий, ныне уступленных компании барона Штиглица, а потому напрасны опасения, что иностранные акционеры этой компании будут вывозить из России большие богатства, — мысль, совершенно справедливая. Он не считает основательным и того опасения, что компания может наводнить Россию иноземными рабочими, — это было бы невыгодно для самой компании, — и этот расчет совершенно верен; наконец он не разделяет и того предположения, что проценты, приносимые дорогами, будут очень незначительны, и правительству придется доплачивать им слишком большие суммы. Действительно, по всей вероятности, средний доход будет не менее трех процентов, — через несколько лет, конечно, более, так что скоро достигнет до пяти процентов, гарантируемых правительством.

Что касается значения железных дорог для России, г. Гагемейстер, подобно автору статьи, помещенной в № 2 «Современника» за прошлый год³, полагает, что железные дороги в России должны, по сравнению с другими способами сообщения, иметь более преимуществ, нежели в иных землях.

Вот его слова:

«По недостаткам естественных путей в России искусственные пути предназначены к большему еще значению, чем в других государствах. Реки наши судоходны только в продолжение нескольких месяцев в году, сколько от замерзания зимой, столько от летнего мелководия; а по мере вырубки лесов весенние воды стекают скорее, снега и дожди выпадают менее. Между прочим, уменьшившейся в атмосфере влажности и меньшему затем приливу вод в Каспийское море должно отчасти приписать, что средний уровень Каспия от 1804 по 1853 год понизился на 12 футов. С этим сопряжено, разумеется, соответственное понижение уровня всех притоков Каспийского моря, то есть водной системы всей восточной полосы России.

«От этих климатических причин сухопутные сообщения страдают не менее водяных. Снег, который часто будет затруднять движение по железным дорогам, вместе с тем делает их пользу более ощутительною в России, чем в странах, пользующихся климатом более умеренным, ибо ныне сообщение юга с севером России возможно только в летние месяцы, а пресловутая русская зима облегчает перевозку только в северной полосе империи. По этим причинам с устройством железных дорог все товарное движение перейдет к оным, тем более, что во время осени и зимы, когда ныне совершенно прекращается речная и отчасти затруднена сухопутная перевозка, настоят наибольшая надобность к перевозке произведений, составляющих богатство России. Что касается пассажиров, то число их будет гораздо значительнее, чем ныне полагают, потому что нет народа, более сохранившего при оседлости склонность к кочевой жизни, как великороссияне, промышленяющие во всех концах империи. Одно уже число косарей, отправляющихся из северных губерний в южные для уборки хлеба и сена, дает немало занятия Московско-Феодосийской дороге».

Не совсем таково мнение г. Д. Г. (в статье «Заметки о железной дороге»). Он, само собой разумеется, уверен, что железные дороги дадут чрезвычайно сильное развитие нашей экономической жизни, и, конечно, не менее других сочувствует великому делу их устройства; но — говорит он — не должно увлекаться и преувеличенными ожиданиями, — надобно дать место бесстрастному расчету.

У нас вошло в обычай сравнивать результаты, ожидаемые от железных дорог для России, с движением, которое производится по железным дорогам в Северо-Американских Штатах. Сходство тут заключается в огромности расстояний и малой плотности населения. Но есть и важные различия, которых не должно упускать из виду.

В ту эпоху, когда начали строиться железные дороги в Северной Америке, промышленная деятельность имела уже громадные размеры; огромные пространства земли на Западе ждали только железных дорог, чтобы населиться колонистами: условия производительного труда были очень благоприятны, характер народа был деятелен и предприимчив. У нас этих условий нет. Потому не должно и ожидать, чтобы в первые годы по открытии железных дорог движение товаров и пассажиров приняло такие размеры, как в Северной Америке. Притом, направление линий в Северной Америке определялось исключительно экономическими потребностями, без всякого влияния административных или стратегических соображений.

Но если справедливо, что железные дороги у нас в первые годы не будут перевозить столько товаров, как в Америке, то, по нашему мнению, все-таки они у нас имеют еще более решительное превосходство над прежними путями сообщения, нежели в Америке. Факты, указываемые г. Гагемейстером, столь же верны, как и те, на которые указывает г. Д. Г. Соображая и те и другие, мы должны прийти к такому выводу. Положим, что промышленная деятельность в Америке до устройства железных дорог была в четыре раза больше, нежели у нас. Если с устройством железных дорог в Америке она удвоилась, то у нас должна утроиться, но, конечно, и тогда еще не сравнится своими размерами с северо-американской. Северо-американцы посредством железных дорог возвысили свое производство от 4 до 8; мы возвысим от 1 до 3, — перевес абсолютной величины производства останется за Северою Америкею — в этом прав г. Д. Г.; но степень усиления производства значительнее для нас, нежели для северо-американцев, — в этом прав г. Гагемейстер.

Конечно, мы говорим об усилении экономической деятельности только в тех полосах, по которым пролегают железные дороги; области, не охватываемые действием железных дорог, конечно, почти ничего не выиграют от них, — и замечание г. Д. Г. о необходимости проведения многочисленных отраслей и соединитель-

ных линий от главных, длинных путей остается совершенно справедливым.

От всей души желаем, чтобы в «Экономическом указателе» сделалось преобладающим то деловое, живое направление, которым отличаются статьи, нами указанные вниманию читателей. Только тогда «Экономический указатель» действительно будет удовлетворять настоятельной потребности нашего общества в политико-экономическом журнале.

Настоятельная потребность политико-экономического журнала — какой шаг вперед в развитии нашей публики обнаруживается этим фактом! Десять лет тому назад такой журнал был бы явлением почти совершенно излишним; он не нашел бы десятой части тех читателей, которые теперь заинтересованы им; он был бы явлением невозможным. Да, что ни говорите, а мы-таки развиваемся, и что бы ни говорили мы о нашей литературе, все-таки в ней заметнее всего отражается это развитие.

Любопытно сравнить характер журналов наших за последние тридцать лет, — постепенное развитие нашей мысли очень отчетливо обнаруживается таким сравнением.

До 1830 года оригинальная повесть была в наших журналах редкостью. Говоря: оригинальная, мы, конечно, разумеем только «написанная русским автором», вовсе не разумея того, чтоб в ней было сколько-нибудь самостоятельности. Несколько времени спустя «Телеграф»⁴ стал чаще прежнего украшаться оригинальными повестями, — но это было делом не столько времени, сколько случая: Н. А. Полевой вздумал быть беллетристом, другой причины тому не было. Как явление случайное, эта черта — частое помещение русских повестей, еще исключительно принадлежало одному журналу Полевого. Другие журналы оставались по-прежнему без повестей. В 1834 году основалась «Библиотека для чтения», и одним из постоянных отделов своей программы сделала «Русскую словесность», понимая под этим словом повести, рассказы, комедии в прозе. Действительно, с того времени постоянно в каждой книжке «Библиотеки» бывала русская повесть. Но это все-таки было еще не делом времени, а просто натяжкой со стороны редакции, обязавшейся во что бы то ни стало печатать что бы то ни было в отделе «Русской словесности», — статьи, наполнявшие этот отдел, большей частью писались точно так же, как статьи отдела «Сельское хозяйство», — фабричным образом, и вовсе не претендовали на литературные достоинства. В других тогдашних журналах русская повесть все еще была явлением не совсем обыкновенным, хотя с каждым годом становилась явлением менее редким.

Ученый отдел журналов был и того беднее оригинальными статьями.

Так продолжалось до основания «Отечественных записок» (1839). Тут в первый раз русские повести, написанные не фабрич-

ным образом, как в «Библиотеке для чтения», стали явлением обыкновенным, хотя все-таки далеко не на каждую книжку доставало этих произведений. Тут в первый раз и ученые оригинальные статьи довольно большого объема и довольно важного достоинства перестали быть редкостью, но все-таки их было менее, нежели повестей.

Прошло еще несколько лет, — и русская беллетристика достигла уже такого развития, что каждая книжка журнала непременно имела русскую повесть. Это началось около того времени, как основался наш журнал (1847)⁵. Ученый отдел все еще гораздо чаще наполнялся во всех журналах переводами или компиляциями. Всего только пять-шесть лет тому назад в некоторых журналах оригинальные статьи серьезного содержания и положительного достоинства начали являться постоянно.

Но если мы сравним нынешние журналы с журналами лет за десять по отношению к ученым статьям, то мы заметим разницу не только в количестве, но и в содержании. Публика была так еще нетребовательна, что статьи самого сухого содержания не считались неудобными для журнала, имеющего читателями всю массу публики. Как-то с год тому назад все удивились, нашедши в одном из хороших журналов статью о Кириллице и о Глаголице⁶ — помилуйте, да лет десять — пятнадцать тому назад такие ли статьи помещались лучшим тогдашним журналом сплошь да рядом — припомните только, чего вы не видали в журналах, издаваемых для всей массы публики! — статьи о музыкальных гаммах, об анатомии, о русских азбуковниках, о лечении болезней искусством и натурою, о тмутараканском камне и тому подобных предметах.

До последнего времени не предполагалось возможным, чтобы мог существовать большой журнал исключительно благодаря статьям серьезного содержания. Теперь это очевидно для всякого. Есть даже многие, которые думают, что беллетристика становится в нашей литературе на второе место, — положим, это мнение пока еще преждевременно; но каждый знает, что пять-шесть лет тому назад статьи серьезного содержания не имели и половины той публики, какую имеют ныне.

До сих пор единственными журналами, нужными массе публики, были журналы энциклопедические. Теперь каждый видит, что начинается возможность существовать журналу, не только ограничивающемуся одними серьезными статьями, но и статьями, принадлежащими к одной определенной области наук. Никто, конечно, не усомнится ныне, что, кроме журнала политико-экономического (существование которого есть уже факт), мог бы существовать журнал исторический.

Люди, еще не старые, пережили на своем веку все эти различные эпохи нашей журналистики. Двадцать лет тому назад почти не существовало в наших журналах русской беллетристики. Пят-

надцать лет назад были еще очень малочисленны в наших журналах самостоятельные статьи серьезного содержания, имеющие положительное достоинство или заслуживающие, по нынешним понятиям, имя общеинтересных статей. Еще менее лет прошло с той поры, когда публика стала обращать на серьезные статьи столько же внимания, сколько и на беллетристику, и приучилась быть сколько-нибудь разборчивой относительно этих статей. Критика, правда, явилась в наших журналах действительно заслуживающею внимания раньше, нежели беллетристика или ученый отдел, — но и тому прошло только с небольшим тридцать лет, — до «Телеграфа» она была ничтожна, как и самые журналы были незначительны.

А между тем давно уж публика наша читает преимущественно журналы; задолго до «Телеграфа» слышались мнения, что журналы — главная отрасль нашей литературы, и повторялись слова:

И вижу наконец в стране моей родной
Журналов тысячи, а книги ни одной⁷.

Спрашивается теперь: с давнего ли времени наша литература стала действительно заметным элементом нашей народной жизни?

Часто жаловались у нас на то, что в прежнее время не заботились о сохранении материалов для биографии наших писателей, — эта небрежность, конечно очень прискорбная для историка литературы, происходила от причины очень естественной и даже основательной. Литература не была важным явлением народной жизни, — какая же могла представляться потребность собирать и сохранять сведения, относящиеся до литературы и до литераторов? В последнее время небрежность эта стала мало-помалу уступать место заботливости о собирании биографических данных. Такую перемену приписывали различным причинам, иногда великодушным, иногда очень незавидным. По нашему мнению, проще и вернее других объяснений то, что собиратели фактов обратили внимание на нашу литературу (и, следовательно, на ее деятелей) с того времени, как важность ее стала очевидна. После Пушкина и во время Гоголя приобрела она важность, — с Пушкина и Гоголя и начинается ряд писателей, жизнь которых кажется их современникам достойной того, чтобы современники и потомство знали о ней. И прежде литераторы превозносили друг друга, — даже гораздо усерднее превозносили, нежели ныне. Но до последнего времени общество не верило в важность их дела, — и они сами невольно, инстинктивно сомневались в его важности. В Пушкине общество в первый раз признало писателя великим историческим лицом, — очень натурально, что о нем стали собирать биографические данные, как и о всяком важном лице в народной истории. Гоголем серьезное внимание общества занялось еще сильнее, — о нем пишут еще более.

В самом деле, о Гоголе теперь собрано уж едва ли не более

биографических сведений, нежели о всех знаменитых наших писателях до Пушкина. Г. Николай М*** издал два толстые тома «Записок»⁸ о его жизни, — публика не утомилась этими двумя томами, — напротив, в ней только пробудилось ими желание узнать о его жизни еще более, и люди, бывшие к нему близкими, спешат удовлетворить этому желанию, — за одной статьей о жизни Гоголя следует другая. В январской книжке «Отечественных записок» г. Тарасенков рассказал нам, как медик, историю последних дней великого писателя; в февральской книжке «Библиотеки для чтения»⁹ — г. Анненков свои воспоминания о Гоголе¹⁰.

Г. Анненков был одним из близких знакомых Гоголя в период его петербургской жизни, до отъезда за границу в 1836 году. Потом в Риме он был в самых коротких отношениях с ним. Воспоминания такого человека должны были быть очень интересны, — и действительно, они очень интересны. Статья, напечатанная в февральской книжке «Библиотеки», доводит рассказ только до встречи г. Анненкова с Гоголем в Риме в 1841 и, конечно, будет иметь продолжение. Теперь мы скажем только, что факты, сообщаемые г. Анненковым, значительно объясняют нам Гоголя как человека и что вообще взгляд г. Анненкова на его характер кажется едва ли не справедливейшим из всех, какие только высказывались до сих пор. Г. Анненков не усиливается, в противность правде и правдоподобию, воображать или изображать Гоголя человеком без всяких слабостей, без всяких недостатков, как то делали другие; он откровенно признается, что в Гоголе была частица притворства, частица искательства, частица хитрости, — но, понимая эти недостатки, г. Анненков понимает также, что они с избытком вознаграждались другими качествами его натуры, прекрасными и благородными. Он не делает нашего великого писателя идеалом всевозможных добродетелей, но видит в нем человека, которого трудно было не полюбить, сошедшись с ним, и нельзя было не уважать, поняв его, — и читатель верит тому. Это не панегирик и не апология, — это просто правдивый рассказ, который для доброй славы человека бывает лучше всяких панегириков и апологий.

Г. Анненков, кажется, хочет представить нам целый ряд воспоминаний и биографических этюдов о замечательных людях русской литературы последних десятилетий, — в то самое время, как в «Библиотеке для чтения» печатает он свой рассказ о Гоголе, в «Русском вестнике» (№ 3-й) является первая часть написанной им биографии Н. В. Станкевича, этого юноши, об очаровательно-возвышенной личности которого не могут без умиления вспоминать люди, имевшие счастье знать его, о чрезвычайно сильном и благотворном влиянии которого на развитие избранных наших писателей вечно будет с признательностью говорить история нашей литературы.

В примечании к этому этюду г. Анненков уведомляет нас, что письма Станкевича, послужившие ему главным материалом для составления биографии, готовятся к изданию. Этюд г. Анненкова, вместе с этими письмами, познакомит русского читателя с одним из самых светлых и самых важных эпизодов истории умственной жизни нашей родины. Мы надеемся возвратиться к этому предмету.

Нельзя не желать, чтобы г. Анненков, который более, нежели кто-нибудь, имеет средств для обогащения нашей литературы такими трудами, как его «Материалы для биографии Пушкина», «Воспоминания о Гоголе» и биография Станкевича¹¹, неумоимо посвящал свои силы этой прекрасной деятельности, которая доставила ему уже столько прав на благодарность русской публики. После славы быть Пушкиным или Гоголем прочнейшая известность — быть историком таких людей.

Наши заметки о журналах за прошедший месяц были бы неполны, если бы мы не упомянули о прекрасной повести Писемского «Старая барыня» («Библиотека для чтения», № 2). Старая барыня — гоф-интендантша Катерина Евграфовна Пасмурова, действительно барыня старых времен; и притом большая, богатая, для губернии даже знатная барыня. Каким почетом пользуется она в губернии! Когда начальник губернии поедет по своей области, он долгом своим считает заехать к ней засвидетельствовать свое уважение, — о мелюзге и говорить нечего: исправники и заседатели говорят с ней чуть ли не на коленях стоя. Она требует и умеет внушить почтение к своей высокой особе. Зато и сама она знает, как с кем должно обходиться. Едет новый губернатор, — она шлет своего дворецкого с поклоном к нему, подносит дворецкий самолучших мерных стерлядей в серебряной лохани и говорит, что «так и так, госпожа его, гоф-интендантша, по слабости своего здоровья, сама приехать не может, но заочно делает ему поздравление с приездом и, как обывательница здешняя, кланяется ему, вместо хлеба-соли, рыбой в лохани».

Почет почетом, но и выгода в почете. Когда продается имение с торгов и пришел на торги ее поверенный, никто уж из покупателей не сунется, всяк знает, что начальник губернии того не желает.

То ли она еще делала! Раз дворянина в очередь вместо своего мужика в рекруты сдала, — конечно, не поневоле, волею пошел, таков уж был у нее поверенный, Яков Иванов, дворецкий, — всякое дело умел устроить.

Этот самый Яков Иванов, теперь уже девяностосемилетний старик, обедневший, слепой, ведет речь о своей старой барыне, «которая была, может, наипервая особа в России; только звание имела что женщина была; а что супротив их ни один мужчина говорить не мог. Как ими сказано, так и быть должно. Умнейшего ума были дама».

Рассказ ведется на постоялом дворе. В тех местах, где женщине по женскому слабому понятию говорить приличнее, Яков Иванов позволяет или приказывает говорить жене; в иных местах, где Яков Иванов, лицемеря не только перед другими, но и перед собой, но лицемеря с достоинством человека, говорящего правду (так привык он чтить госпожу), хочет прикрыть все, что было неладно, перебивает его содержательница постоялого двора, которая не разделяет благоговения Якова Иванова к его госпоже, — «каменного сердца госпожа была», — и напрямки доказывает, какие безбожные дела его госпожа делала, как людей губила ради своей гордости, — да и сына-то, может быть, через это погубила — а он во всем ей слугой или еще и подбустителем был, точно бога они с госпожою не имели.

Сюжет повести немногосложен. Любимая, единственная внучка гоф-интендантши, на которую не надыхалась старуха, полюбила бедного офицера, сына соседки помещицы, которая велела ему выйти в отставку, — можно себе представить, как приняла гоф-интендантша сватовство: вышнала мать жениха, осмелившуюся говорить ей такие дерзкие речи, — быть может, что и внучку свою по щечке ударить изволила, как полагает жена Якова Иванова, — внука бежала и повенчалась с офицером, — страшную нужду терпели они: он искал места, никто не давал места, потому что гоф-интендантша не желала. Мало того, когда начал бедняк с горя выпивать, Яков Иванов устроил так, что жена убедилась в измене мужа (она не даром была внука гоф-интендантши), бросила его и воротилась к бабушке, которая приняла ее, как будто и не было вражды между ними, — но с мужем видаться не позволила. Не выдержал муж, перерядился разбойником и увез жену. Но измучившаяся женщина не перенесла страшного испуга. А бабушка над ней памятник поставила.

Рассказ превосходен. Один только недостаток можем мы заметить в нем — Грачиха, содержательница постоялого двора, несколько раз вмешивается в рассказ, который, по намерению Якова Иванова, должен прекратиться, — вмешательство Грачихи каждый раз поддерживает его. Это связывание обрывающейся нити не всегда введено с достаточной естественностью, — вмешательство Грачихи и возобновление речи Якова Иванова иногда не мотивировано и, кажется, будто рассказ продолжается не потому, чтобы мог в самом деле продолжаться, а только по намерению автора дослушать его насильно натягивается его продолжение, — да и автор не всегда скрывает, что он не столько слушает рассказ, сколько занят мыслью: «а ведь я перескажу его публике». Писатель не довольно скрылся в слушателе.

Еще замечание, соглашаться или не соглашаться с которым мы уже готовы предоставить на произвол автора, потому что оно основано на нашей догадке, а угадали ль мы намерение автора в этом случае, не знаем. Яков Иванов на постоялом дворе затем,

что провожает внука в рекрутское присутствие, внук промотыжничался и нанялся в рекруты; в этой гибели виноват дед, — пропиталась его душа правилами интендантши, и на его любимце отразились эти правила той же судьбою, как на внуке гоф-интендантши, и он на старости лет понес ту же кару, ту же скорбь, как она. Но отношения деда к внуку не выставлены с достаточной определенностью. Нам кажется, должно было сделать одно из двух: или хотя двумя-тремя словами определить характер участия Якова Иванова в гибели внука, или изменить несколько фраз, заставляющих видеть такое отношение, между тем как нельзя знать, в чем же именно состояло оно.

Нам кажется также, что характер мужа гоф-интендантской внуки не обрисован с такой отчетливостью, чтобы его разврат и потом возвращение к жене были достаточно мотивированы, — но это лицо второстепенное, — мы можем догадываться, что это был один из тех «хороших» людей, о которых говорят «ни рыба, ни мясо» — потому за этим недостатком мы не гонимся.

Зато как хороша гоф-интендантша, как хорош верный слуга Яков Иванов и в каком эффектном свете является он девяносто-семилетним стариком, слепым, но совершенно крепким душою, «каменного сердца человеком», с одним старым чувством, — фамильной гордостью родового слуги своею госпожою, — это фанатик челядинства; как хороша его жена, как эффектно его мужское владычество над бабою, — старость не смягчила суровости этого господства, как обыкновенно смягчает его в других супружествах простолюдинов — она и не должна смягчить его: таков закаленный правилами госпожи характер этого человека. А какая правда в самом рассказе! Как соблюден характер старины и в языке и в понятиях! «Старая барыня» принадлежит к лучшим произведениям талантливого автора, а по художественной отделке эта повесть, бесспорно, выше всего, что доселе издано г. Писемским¹².

< ИЗ № 4 «СОВРЕМЕННОГО» >

Март 1857¹

<«Русская беседа» и славянофильство. — «Доходное место» Островского. — «Свет не без добрых людей», комедия Львова. — «Поярков» Печерского. >

Холодно, отчасти насмешливо, отчасти даже как-то неприязненно смотрела до сих пор на «Русскую беседу» почти вся наша публика. Почти все наши журналы, когда говорили о ней, говорили с ирониею или с укоризнами. Едва ли не один только «Современник» доказывал, что между славянофилами и огромным большинством образованных людей, отвергающим славянофильские идеи о русском воззрении, существуют, выше этого раздорного пункта, точки схождения во мнениях, согласия в желаниях². Мню-

гим из уважаемых нами людей такой взгляд на славянофилов показался совершенно ошибочным, чуть ли не преступным перед Европою и просвещением. Большинство продолжало смотреть на славянофилов не как на людей, которые, ошибаясь во многом и важном, о важнейших и существеннейших вопросах жизни (потому что есть в жизни нечто важнее отвлеченных понятий) думают правдиво и благородно, — нет, как на людей, которые, ради осуществления своих туманных и ошибочных теорий о народности в науке, готовы пожертвовать и наукою, и благами цивилизованной жизни, и всем на свете.

Наконец-то, после напрасного годичного ожидания, дождались мы от публики более благоприятных отзывов о мнениях, органом которых служит «Русская беседа». Не знаем, решатся ли отказаться сразу от своих предубеждений журналы, до сих пор не видевшие ничего хорошего в «Русской беседе», — решатся ли они признаться, что славянофилы одушевляются не одною мечтою о небывалом и невозможном специально-русском построении науки на фантастических основаниях, но также, — и еще больше, — стремлениями, свойственными каждому образованному и благородному человеку, каковы бы ни были его теоретические заблуждения. Быть может, журналы, глумившиеся над славянофилами, почтут нужным умолчать о впечатлении, которое произвела на большинство мыслящих людей первая книга «Русской беседы» за нынешний год. Но у нас нет ни причины, ни желания не сказать с радостью, что впечатление это вообще было очень благоприятно для «Русской беседы» и славянофилов. Публика, наконец, получила в этой книге доказательства, что для славянофильского журнала существуют интересы, более дорогие и живые, нежели мечты, которые не могут встретить в большинстве ни сочувствия, потому что отвлеченны и неприложимы к делу, ни одобрения, потому что не вели бы ни к чему хорошему, если бы были осуществимы.

Это благоприятное впечатление произведено преимущественно двумя превосходными статьями г. Самарина, помещенными в критике. Мы не будем подробно говорить о том, почему и как действуют они на каждого благомыслящего человека самым выгодным образом — мы надеемся, что те из наших читателей, которые еще не знают этих статей, познакомятся с ними из самой «Русской беседы». Одобряемые теперь благоприятным расположением публики к «Русской беседе», мы хотим сказать, с какой точки зрения образ мыслей, называемый славянофильством, заслуживает, если не полного одобрения, то оправдания и даже сочувствия; не усомнимся указать даже те частные вопросы, о которых славянофилы думают, как нам кажется, справедливее, нежели многие из так называемых западников. Читатели видят, что не всех западников мы считаем одинаково безошибочными во мнениях; точно так же мы говорим не о всех без исключения

людях, называющих себя славянофилами, что у них есть нечто важнейшее и лучшее, нежели идеи о русском воззрении. В самом деле, обе партии одинаково считают в своих рядах людей, не имеющих почти ничего общего между собою, кроме того или иного взгляда на отношение народности к общей человеческой науке. А этот вопрос, служащий основанием для разделения партий, далеко не имеет, по нашему мнению, той всепоглощающей важности, какую ему приписывают; и между людьми, согласными в его решении, могут быть разногласия по другим, гораздо существеннейшим вопросам. Как из западников, так и славянофилов мы признаем достойными особенного сочувствия только тех, которые справедливо думают об этих важнейших вопросах. Если бы, например, между западниками нашлись люди, восхищающиеся всем, что ныне делается во Франции (а такие есть между западниками), мы не назвали бы их мнения достойными особенного одобрения, как бы громко ни кричали они о своем сочувствии к западной цивилизации, — потому что и во Франции, как повсюду, гораздо более дурного, нежели хорошего; с другой стороны, как бы ни заблуждались в своих понятиях о допетровской Руси люди, в настоящем одобряющие только то, что действительно достойно одобрения, и желающие всех тех улучшений, каких должен желать образованный человек, — мы все-таки почли бы мнения таких людей в сущности добрыми, потому что действительные стремления относительно настоящих дел важнее всяких отвлеченных мечтаний о достоинствах или недостатках отдаленного прошедшего. Только славянофилы последнего рода придают жизнь и смысл своей партии, потому только о них мы и будем говорить, оставляя без внимания людей, которые, по недостатку умственного развития, по отсталости или по увлечению бесплодными мечтами, были бы одинаково ничтожны или вредны, что бы ни говорили об отношениях народности к общечеловечности.

Лучшие люди славянофильской партии — люди с горячею преданностью своим убеждениям; уж этим одним они полезны в нашем обществе, самый общий недостаток в котором не какие-нибудь ошибочные понятия, а отсутствие всяких понятий, не какие-нибудь ложные увлечения, а слабость всяких умственных и нравственных влечений. Прежде, нежели желать того, чтобы все твердо держалось образа мыслей, который кажется кому-нибудь из нас справедливейшим, надобно признавать настоятельную потребностью русского общества пробуждение в нем мысли и способности к принятию каких-либо умственных убеждений, каких-либо нравственных влечений, каких-либо общественных интересов. А исполнению этого дела славянофилы стараются содействовать всеми силами и, как люди горячих убеждений, очень полезным образом действуют на пробуждение умов, доступных их влиянию.

Этого права их считаться людьми полезными для общества

никто, кажется, не отрицает; но многие думают, что польза, приносимая ими делу пробуждения мысли в русском обществе, далеко превышает вредом, какой они приносят успехам общества, наполняя мысль человека, ими пробуждающегося к жизни, совершенно ложным содержанием, стремясь дать ей направление, совершенно превратное.

Не оправдывая всего того, что говорят даже лучшие представители славянофильства, человек, любящий родину и принимающий выводы науки на Западе, должен, однако же, сказать, что столь общее отрицание всякой справедливости в славянофильстве неосновательно, должен признать, что из элементов, входящих в систему этого образа мыслей, многие положительно одинаковы с идеями, до которых достигла наука или к которым привел лучших людей исторический опыт в Западной Европе.

Начнем хотя с тех враждебных чувств к нынешней Европе, в которых обыкновенно обвиняются славянофилы. Конечно, грубо понимаемое, такое обвинение будет совершенно клеветою на них, — всему действительно великому и хорошему в Западной Европе они сочувствуют не менее самых заклятых западников и, конечно, никому не уступят ни в уважении к таким людям, как Роберт Пиль или Диккенс, Штейн или Гегель, — ни в искренности желания как можно ближе и полнее познакомить русских с благотворными плодами западного просвещения. (Просим не забывать, что мы говорим о лучших представителях славянофильства, а не о тех людях между ними, преступления которых против западной цивилизации легко прощаются, как грехи неведения.) Беспристрастный человек должен назвать предубеждением мнение, будто они враждебны европейскому просвещению. Но то правда, и в том признаются они сами, что они не считают слишком завидным нынешнее положение народной жизни в Западной Европе. За эту строгость нельзя их винить. Недаром путешественники, отправляющиеся в Западную Европу с ожиданием найти там земной рай, возвращаются разочарованными, если ищут, например, в Париже чего-нибудь, кроме пале-рояльских удовольствий и модных портных. Масса народа и в Западной Европе еще погрязает в невежестве и нищете; потому, она еще не принимает разумного и постоянного участия ни в успехах, делаемых жизнью достаточного класса людей, ни в умственных его интересах. Не опираясь на неизменное сочувствие народной массы, зажиточный и развитый класс населения, поставленный между страхом вулканических сил ее и происками интриганов, пользующихся рутинною и невежеством, предается своекорыстным стремлениям, по невозможности осуществить свой идеал, или бросается в излишества всякого рода, чтобы заглушить свою тоску. Многие из лучших людей в Европе до того опечалены этим злом, что отказываются от всяких надежд на будущее; другие доказывают, что с течением времени зло не уменьшается, а возрастает.

Первые, конечно, не правы, но вторые говорят правду. Действительно, язва пролетариата все расширяется, даже физическая организация племен слабеет, так что, вообще говоря, даже средний рост уменьшается. Всего прискорбнее здесь то, что главным источником нищеты и бедствий в Западной Европе надобно считать не недостаточность средств к быстрому и коренному улучшению народного быта, а дурное и несправедливое распределение этих средств или недоброжелательство к улучшению народного быта со стороны людей, держащих в руках эти средства и, по своекорыстному расчету, не применяющих их к делу. Мы представим только один случай для примера. Положительный расчет показывает, что если бы во Франции поля возделывались при помощи средств, предлагаемых естественными науками и механикою, и по системе, указываемой политической экономией (общинное возделывание земли при помощи улучшенных машин), жатва более нежели удвоилась бы. А между тем во Франции недостает хлеба. Если бы земледелец во Франции пользовался сам плодами своих трудов, он жил бы безбедно, — а он терпит нужду. Еще безотраднее положение фабричных и заводских работников, которым еще легче было бы иметь изобилие во всем, нужном для жизни. Но весь труд во французском обществе производится под гнетом своекорыстных эксплуататоров, которые могут быть прекрасными людьми, но которые, как всякий человек, заботятся о собственных, а не о чужих выгодах, думают об увеличении своих доходов, а не об улучшении участи зависимого от них рабочего населения. [Все делается по системе, заклеянной именем *l'exploitation de l'homme par l'homme**.] Точно таков же порядок экономических отношений и во всей остальной Западной Европе. Это факт, обнаруженный лучшими людьми самой Западной Европы и принуждающий их негодовать на действительность, их окружающую.

Таково же и положение умственной жизни на Западе. Правда, наука сделала великие успехи, но еще слишком мало имеет влияния на жизнь. Большинство не только народа, но даже образованных классов, погружено еще в дикие понятия, свойственные скорее временам кулачного права, нежели веку цивилизации. Когда лучшие люди в Западной Европе сравнивают образ мыслей огромного большинства своих сограждан с гуманными идеями современной науки, они приходят в отчаяние, видя, что несомненнейшие умственные и нравственные истины ее, достоверные, как аксиомы геометрии, ясные, кажется, как свет дневной, остаются еще неведомы или непоняты никем, кроме горсти немногих избранных, еще бессильных над нравами и стремлениями общества, по своей малочисленности. Приведем опять хотя один пример. При нынешнем развитии государственного порядка, когда масса

* Эксплоатация человека человеком. — *Ред.*

побеждающего народа уже не грабит и не обращает в личное рабство своим сочленам всю массу побежденного народа (как то было при завоевании германцами провинций Римской империи), разумна и полезна только та война, которая ведется народом для защиты своих границ. Всякая война, имеющая целью завоевание или перевес над другими нациями, не только безнравственна и бесчеловечна, но также положительно невыгодна и вредна для народа, какими бы громкими успехами ни сопровождалась, к каким выгодным, повидимому, результатам ни приводила. Это достоверно, как $2 \times 2 = 4$. А между тем, и во Франции, и в Англии люди, говорившие это во время последней войны с Россиею, были предметом общего посмеяния или негодования.

Злоупотребления, недостатки и бедствия в материальной и умственной жизни народов Западной Европы — это предмет неистощимый. Из тысячи обвинительных пунктов против западноевропейской действительности мы коснулись, и то слегка, без всяких подробностей, лишь двух-трех. Страшную картину современного быта своей родины представляет каждый из западноевропейских писателей, если только он добросовестен и стоит по мысли в уровень с гуманными идеями века. Это прискорбное разноречие действительности с потребностями и идеалами современной мысли с году на год становится тяжелее в Западной Европе.

Что удивительного, что преступного, если это самообличение Европы лучшими из ее детей находит отголосок и у нас? Всякая ложь вредна. Зачем нам оставаться в фантастической уверенности, будто бы Западная Европа — земной рай, когда на самом деле положение народов ее вовсе не таково? Не одни славянофилы стараются вывести нас из этого легкомысленного обольщения, — немногие, истинно серьезные мыслители, которых мы имели или имеем, выставляли нам недостатки западноевропейской действительности в самом резком виде. Пусть славянофилы, когда говорят об этом предмете, во многом ошибаются, принимая иное хорошее за дурное или наоборот, — эти частные ошибки не мешают справедливости общей идеи, повторяемой ими, но принадлежащей вовсе не им, а всем лучшим людям Запада, от которых они и узнали о ней, — не мешают справедливости этой общей идеи: Западная Европа вовсе не рай.

А когда мы подумаем о том, до какой степени у многих из так называемых западников темны еще понятия о том, что хорошо и что дурно в Европе, и как до сих пор очень многим кажется лучшим именно то самое, что есть худшего в Европе, то должны будем признаться, что критика европейского быта, которую славянофилы, прямо или через вторые руки, заимствуют из лучших современных мыслителей, далеко не бесполезна для очищения наших понятий о Европе. Конечно, эта критика соединяется,

проходя через уста славянофилов, с примесями, чуждыми, иногда прямо враждебными ее духу, — но мы настолько уверены в здравом смысле русского племени, мало расположенного к отвлеченным фантазиям, что эти примеси внушают нам довольно мало опасения. Здравый смысл и такт действительности, которым очень сильны русские, довольно легко отличат фантастическую примесь от фактов. Притом же примеси, особенно любимые многими из славянофилов, выбраны ими из круга чувств, которые очень антипатичны русскому характеру. Ни заоблачные мечтания, ни самохвальство не в характере у русского человека.

Мало вероятности, чтобы заблуждения, противные племенному характеру, распространились в нации. Но если б это и было вероятно, все-таки надобно было бы сказать, что опасности для народного развития, представляемые этими примесями, менее важны, нежели выгоды, соединенные с некоторыми твердыми убеждениями славянофилов, [убеждениями, которые, будучи последним словом западноевропейской науки и опытности, но не вошедши еще в умственную рутину всех дюжинных западных писателей, живущих рутинными фразами, не получили еще и у нас права гражданства между огромным большинством тех так называемых западников, которые почерпают свои мнения из наиболее распространенных иностранных журналов и книжек, вроде *Journal des Débats*, *Revue des deux Mondes*, сочинений Гизо, Тьера и т. п.

В пример, мы укажем на одно из таких убеждений, осуществление которого стало уже главной исторической задачей для государств, стоящих в челе цивилизации, как Франция и Англия.

Обеспечение юридических прав отдельной личности было существенным содержанием западноевропейской истории в последние столетия. Совершенного ничего нет на земле, но в чрезвычайно высокой степени цель эта достигнута на Западе. Право собственности почти исключительно предоставлено там отдельному лицу и ограждено чрезвычайно прочными, неукоснительно соблюдаемыми гарантиями. Юридическая независимость и неприкосновенность отдельного лица повсюду освящена и законами и обычаями. Не только англичанин, гордый своею личною независимостью, но и немец, и француз может справедливо сказать, что пока не нарушает законов, он не боится ничего на земле, и что личная собственность его недоступна никаким посягательствам. Но, как всякое одностороннее стремление, и этот идеал исключительных прав отдельного лица имеет свои невыгоды, которые стали обнаруживаться чрезвычайно тяжелым образом, едва он приблизился к осуществлению с забвением или сокрушением других не менее важных условий человеческого счастья, которые казались несовместны с его безграничным применением к делу. Одинаково тяжело для народного благоденствия легли эти вредные следствия на обоих великих источниках народного благосо-

стояния, на земледелии и промышленности. Безграничное соперничество отдало слабых на жертву сильным, труд на жертву капиталу. При переходе всей почти земли в собственность частных лиц явилось множество людей, не имеющих недвижимой собственности, — таким образом возникло пролетариатство. Владельцы мелких участков, на которые распалась земля во Франции, не имеют возможности применить к делу сильнейших средств для улучшения своих полей и увеличения жатв, потому что эти средства требуют капиталов и применимы только к запашкам большого размера. Они обременены долгами. В Англии фермеры имеют капиталы, но зато без значительного капитала невозможно в Англии и думать о заведении ферм, а люди, имеющие значительный запас наличных денег, всегда не многочисленны пропорционально массе народа, — и потому большинство сельского населения в Англии — батраки, положение которых очень печально. В заводско-фабричной промышленности вся выгода сосредоточивается в руках капиталиста, и на каждого капиталиста приходится сотни работников, — пролетариев, существование которых бедственно. Наконец, и земледелие и заводско-фабричная промышленность находятся под властью безграничного соперничества отдельных личностей. Чем обширнее размеры производства, тем дешевле стоимость произведений, потому что большие капиталисты подавляют мелких, которые мало-помалу уступают им место, переходя в разряд их наемных людей, а соперничеством между наемными работниками все более и более понижается заработная плата. Таким образом, с одной стороны возникли в Англии и Франции тысячи богачей, с другой — миллионы бедняков. По роковому закону безграничного соперничества, богатства первых должны все возрастать, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем числе рук, а положение бедняков становится все тяжелее и тяжелее.

Но и в настоящем положении дел так противуестественно и тяжело для девяти десятых частей английского и французского населения, что необходимо должны были явиться новые стремления, которыми отстранялись бы невыгоды прежнего одностороннего идеала.

Подле понятия о безграничных юридических правах отдельной личности возникла идея о союзе и братстве между людьми; люди должны соединиться в общества, имеющие общий интерес, сообща пользующиеся силами природы и средствами науки для производства и для экономного потребления производимых ценностей. В земледелии братство это должно выразиться переходом земли в общинное пользование; в промышленности — переходом фабричных и заводских предприятий в общинное достояние компании всех работающих на этой фабрике, на этом заводе. Только это новое устройство экономического производства может дать благосостояние целому, например французскому или английскому,

племени, и население этих стран, состоящее из тысячи богачей, окруженных миллионами бедняков, превратить в одну массу людей, не знающих роскоши, но пользующихся благоденствием.

Это новое стремление к союзному производству и потреблению является естественным продолжением, расширением, дополнением прежнего стремления к обеспечению юридических прав отдельной личности. В самом деле, не надобно забывать, что человек не отвлеченная юридическая личность, но живое существо, в жизни и счастья которого материальная сторона (экономический быт) имеет великую важность; и что потому, если должны быть для его счастья обеспечены его юридические права, то не менее нужно обеспечение и материальной стороны его быта. Даже юридические права на самом деле обеспечиваются только исполнением этого последнего условия, потому что человек, зависимый в материальных средствах существования, не может быть независимым человеком на деле, хотя бы по букве закона и провозглашалась его независимость. А при известной густоте населения и при известной степени развития экономических отношений (появление хороших путей сообщения, обширной торговли, механических способов производства и т. д.) материальное благосостояние может быть доставлено массе населения только экономическим соединением производителей для труда и потребления.

Но введение такого порядка дел чрезвычайно затруднено в Западной Европе безграничным расширением юридических прав отдельной личности. Братья в соединении живут гораздо с большим благосостоянием, нежели могли бы жить разделившись, — это истина, известная у нас каждому поселянину («раздел семьи на отдельные хозяйства разорвет семью» — это знает каждый у нас), но, живучи вместе, каждый из братьев должен жертвовать частью своего полномочия родовому союзу, ограничивать свои капризы, противные общей (и в том числе его собственной) пользе].

Однако же, вместо общих размышлений о славянофильстве, к выражению которых были мы ободрены благоприятным впечатлением, произведенным на публику первую книгою «Русской беседы» за нынешний год, пора нам заняться обзором содержания этой книги, очень замечательной.

О статьях г. Самарина, на которые мы хотели бы особенно обратить внимание каждого из наших читателей, мы ничего не будем говорить; одна из них, написанная по поводу книги графа Орлова, «Очерки похода Наполеона против Пруссии в 1806 году», должна быть прочтена каждым живым человеком, и о ней ничего нельзя сказать, кроме похвал, которые мы уже сказали. Другая — «Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чичерина», конечно, оставляет место некоторым очень серьезным возражениям, но сам г. Чичерин, вероятно, не останется в долгу у достой-

ного противника, которого наконец нашел себе³. По нашему мнению, замечания г. Самарина таковы, что каждое из них заслуживает серьезного рассмотрения, а некоторые должны быть признаны справедливыми, — например, мысль о необходимости дополнить свидетельства юридических актов, собранные у автора, фактами, встречаемыми в других источниках истории (в иноземных писателях о России, в летописях, народных преданиях и песнях) и представляемыми изучением современного быта; но мы сильно сомневаемся, чтобы от расширения границ картины просветлели ее краски, как на то, повидимому, надеется г. Самарин. Заметим также, что ответом на параллели русской системе кормления, находимые г. Самариним в истории западных государств, должно быть не отрицание сходства между сравниваемыми явлениями, а признание этих явлений одинаково невыгодными для государственного благоустройства, с прибавлением того, что в истории западных государств действие принципа, сходного с нашим кормлением, до некоторой степени уравнивалось влиянием других начал, чего у нас почти не было.

Г. Чичерин, кажется, служит кошмаром «Русской беседы», которая в каждой из пяти вышедших до сих пор книг посвящала обширные статьи опровержению его мнений⁴. И в обозреваемой нами книге, кроме статьи г. Самарина, занимается этим делом еще другая, более обширная статья: «Критические замечания на сочинения г. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке», г. Н. И. Крылова. Конечно, эти замечания написаны с ученостью и умом, как и следовало ожидать от ученого, имеющего громкую известность. Но, по меткости и силе возражений, статью г. Самарина надобно поставить выше. Притом же г. Крылов говорит слишком докторальным тоном, — он слишком проникнут мыслью, что имеет дело с бывшим своим студентом. Так некогда поучал г. Погодин гг. Соловьева и Кавелина, которые, однако, справедливо говорили, что извлекают очень мало пользы из его назидательных бесед⁵.

Чрезвычайно интересна по предмету, но суха и отчасти темна по изложению статья г. П. Р. — на «Об устройстве земледельческого сословия в Австрии». Гораздо яснее, хотя и короче, изложено это дело г. Е. Ламанским в «Экономическом указателе» (№ 13)⁶. Важно по множеству новых фактов, извлеченных из рукописных источников, сочинение г. А. Попова, «История возмущения Стеньки Разина». Сколько можно судить по первой части его, напечатанной в обозреваемой нами книге «Русской беседы», автор хочет ограничиться изложением сведений, представляемых его источниками; он избрал себе цель скромную, но полезную, и за извлечение фактов из-под архивного спуда он заслуживает полной признательности.

Вместе с замечательно прекрасными статьями г. Самарина привлекла к «Русской беседе» внимание публики комедия

г. Островского «Доходное место», — сильным и благородным направлением она напоминает ту пьесу, которой он обязан большею частью своей известности, — комедию «Свои люди — сочтемся». Замечательна эта новая пьеса и в том отношении, что тут г. Островский изображает круг, не имеющий ничего общего с купеческим бытом, нравами которого до сих пор он почти исключительно занимался. Жадов, молодой человек, получивший университетское образование и проникнутый строгими, высокими понятиями о жизни, вступает в жизнь при условиях самых благоприятных для того, чтобы составить себе карьеру; его дядя — высший начальник того места, при котором начинает служить он. Он страстно любит девушку, которая так еще молода, и кажется ему такою благородною, по натуре, что он надеется воспитать ее. Но правила, которых молодой человек держится, оказываются несовместными с человеческим счастьем не только на службе, но даже и в семействе. Дядя недолюбливает его за «фанаберию», о которой так хорошо умеют рассуждать люди, живущие безгрешными доходами. Агент дяди по безгрешным доходам, Юсов, управляющий дядею и непосредственный начальник Жадова, ненавидит молодого человека за ту же «фанаберию». Жадов, решившись жениться на любимой девушке, является к дяде просить вакантную должность столоначальника, чтоб иметь возможность содержать жену. Он, конечно, достойнее всякого другого занять эту должность. Но дядя так недоволен «фанаберию» племянника и до того восстановлен против него Юсовым, что отказывает Жадову, советует ему приискать себе службу в каком-нибудь другом месте и отдает столоначальническую должность Белогубову, истому приказному, который понятия не имеет ни о какой фанаберии. Тем кончается первый акт. Во втором действии мы знакомимся с вдовою, коллежскою асессоршею Кукушкиной, матерью той девушки, на которой думает жениться Жадов, и с двумя ее дочерьми. Жадов сватает Полину. Белогубов другую сестру, Юлиньку. Почтенная мать прямо говорит дочерям, что они такой товар, который она хочет как можно поскорее сбыть с рук, что она тяготится ими, что чем скорее они найдут себе мужей, тем лучше. Девушки сами думают также, что чем скорее расстаться с матушкою, тем лучше, потому что житье под ее властью вовсе не масляница. Полине нравится ее жених, Жадов, — конечно, это молодой человек с прекрасным лицом, с изящными манерами; Юлинька признается сестре, что считает своего жениха ужасной дрянью, — конечно так, Белогубов должен быть плюгавый юноша, с канцелярскими ухватками. «Что же ты не скажешь матушке?» — говорит сестре Полина. — «Вот еще! сохрани господи! Я рада-радехонька хоть за него выйти, только бы из дому-то выоваться», — отвечает Юлинька. — «Да, правда твоя! — замечает Полина: — не попадись и мне Василий Николаич, кажется, рада бы первому встречному на шею броситься;

хоть бы плохенький какой, только бы из беды выручил, из дому взял!» Божье мое, история скольких замужеств рассказана этими словами! Обыкновенно романисты, скорбя об участи тех бедных девушек, которых отдают замуж против воли, и негодуя на тех, которые выходят замуж, чтобы надеть чепец и иметь право выезжать без всяких надзирательниц, тетушек и гувернанток, — забывают о тех девицах, которые, чтобы избавиться от несносных притеснений, выходят за первого встретившегося жениха, — а число таких замужеств, по крайней мере, не менее, нежели насильственных отдал замуж. Но возвращаемся к комедии г. Островского. Сестры-невесты толкуют между собою о том, каково им будет жить в замужестве. Юлинька уверена в своем Белогубове, — он доставит ей средства щеголять, он говорил, что купцы дарят ему много всяких материй и дают много денег; Полина не слышала от своего жениха о таких доходах и грустит. Но потом, ободренная сестрою, понимает, что жена должна требовать и может вытребовать у мужа и платья и деньги; муж обязан доставлять жене удовольствия; не кухаркой же ей жить, в самом деле. Третье действие. Жадов сидит в гостинице с старым университетским товарищем и рассказывает о своем житье-бытье. Он женат уже год, работает с утра до ночи. Живет довольно скудно. Жена его очень мила, но ведь ей хочется же жить не хуже других: иметь шляпки, платья... словом сказать, история его коротка, как он сам говорит приятелю: «История моя коротка; я женился по любви, как ты знаешь; взял девушку неразвитую, воспитанную в общественных предрассудках, как и почти все наши барышни, мечтал ее воспитать в наших убеждениях, и вот уж год женат...» — «И что же?» — «Разумеется, ничего; воспитывать ее мне некогда, до и не умею я приняться за это дело. Она так и осталась при своих понятиях; в спорах, разумеется, я ей должен уступать. Положение, как видишь, незавидное, а поправить нечем. Да она меня и не слушает, она меня просто не считает за человека умного. По их понятию, умный человек непременно должен быть богат... Да, этот случай очень и очень нередкий, — вот вам и мечты о семейном счастье, о перевоспитании и тому подобных химерах. «Ты говоришь, что ты умный человек. Да в чем же твой ум, если ты денег достать не умеешь, нового платья подарить жене не можешь?» — Белогубов — о, вот он, конечно, умный человек. Он является в гостиницу с Юсовым и двумя товарищами чиновниками, — он угощает их после изрядного получения денег. У него довольно денег, им жена без сомнения довольна. Белогубов добрый и хороший человек, — в самом деле, разве взяточник не может быть прекрасным человеком? Он человек простой и, увидев Жадова, просит «брата» закусить и выпить шампанского вместе с ним, хотя думает, что Жадов на него сердится. Жадов отказывается, — человек не с добрым сердцем обиделся бы на месте Белогубова, но Белогубов истинно хороший родствен-

ник, — он все упрасивает Жадова выпить шампанского и жить с ним по-родственному. Жадов, попрежнему проникнутый «фанабериею», говорит: «нельзя нам с вами жить по-родственному», разумея под этим, что не может ужиться с взяточником, грязным и низким. Но Белогубов не понимает таких тонкостей. «Отчего же-с?» добродушно спрашивает он. — «Не пара мы». — Белогубов понимает это по-своему. — «Да, конечно, какая кому судьба. Я теперь все семейство поддерживаю и маменьку. Я знаю, братец, что вы нуждаетесь; может быть, вам деньги нужны, не обидьтесь, сколько могу! Я даже и за одолжение не почту. Что за счета между родными!» — «С чего вы вздумали предлагать мне деньги?» — «Братец, я теперь в довольстве, мне долг велит помогать. Я, братец, вижу вашу бедность». — «Какой я вам братец! Оставьте меня!» — «Как угодно, я от души предлагал. Я, братец, зла не помню, не в вас. Мне только жаль смотреть на вас с женою вашей», — с родственным участием говорит добрый Белогубов, прощая обиды родственнику. — Действительно, Белогубов добрый человек и не помнит зла. Он и его жена потихоньку от Жадова дают деньги и дарят наряды его жене. Юлинька счастлива своим мужем — дом у них полная чаша, нарядов у ней гибель. Полина любит мужа, но несчастлива с ним, — у нее мало нарядов. Из желанья добра сестре Юлинька учит Полину требовать от Жадова, чтоб он поступал по примеру Белогубова, — тогда у Полины будут и лошади, и наряды, и хорошая квартира. То же самое говорит и мать. Когда Жадов возвращается домой, Полинка пристаёт к нему с своими требованиями. Мать, которая сидит тут же, поддерживает ее. Он глупец и бесчестный человек, если не может доставить жене средств жить, как прилично барыне. Жадов выходит из себя, ссорится с тещей. Жена, однако же, научена уже, как сломить его глупую «фанаберию». Она объявляет, что не хочет жить с ним, если он заставляет ее терпеть нужду, и уходит из дому. Сестра прокормит ее, не даст ей терпеть нужды. Жадов побежден. Он ворочает жену, говорит, что готов на все. Он будет служить, как Белогубов, и отправляется просить у дяди извинения в своей «фанаберии», отказаться от своих глупых правил, просить доходного места. — Ну, и прекрасно. Полина, бедняжка, перестает страдать — она много терпела: не говоря уже о том, что у ней не было столько нарядов, как у счастливой сестры, разве ей легко было ссориться с мужем? Ведь она его любит.

Комедия была бы, нам кажется, цельнее и полнее в художественном отношении, если бы оканчивалась этим кризисом, — пятый акт прибавлен автором, чтобы опаста Жадова от нравственного падения. Жадов с женою являются к Вышневному, но уж поздно просить у него милостей. Его безгрешные проделки для получения безгрешных доходов открылись, он падает с своего возвышенного и очень доходного места. Катастрофа, при которой

присутствует Полина, вразумляет ее: она понимает, что принуждала мужа сделаться преступником, покрыть себя бесславием в глазах честных людей. Она бросается в объятия мужа, — она теперь достойная жена его, они останутся честными людьми.

По нашему изложению, слишком еще не полному, читатели уже могут видеть, сколько правды и благородства в новом произведении г. Островского, сколько в пьесе драматических положений и сильных мест. Прибавим, что многие сцены ведены превосходно и обнаруживают, какими богатыми силами и средствами владеет автор, и что лучшими характерами в пьесе показались нам Белогубов и особенно его жена и теща, г-жа Кукушкина⁷.

Очень много замечательного и прекрасного нашли мы в первой книге «Русской беседы» — если бы следующие книги походили на первую, журнал славянофилов очень много поднялся бы в общем мнении, которое и теперь уже значительно смягчено в его пользу. Надобно желать только, чтобы те люди, которые в славянофильской партии должны считаться истинными представителями просвещенных и достойных сочувствия идей, были осторожны в выборе сподвижников и не принимали с распростертыми объятиями каждого, кто вопиет о русской народности и вредности западной цивилизации. Пусть только они помнят, что прежде всего писатель должен быть человеком просвещенным и разумным, и что никакие, ни ультра-славянофильские, ни ультра-западнические мнения не могут вознаграждать в писателе отсутствия этих необходимых качеств. Что хорошего было бы, если б журналы западников стали помещать статьи г. Анаевского за то, что он доселе держался мнений западного писателя аббата Милота? Точно так же не принесло бы особенной пользы и славянофильскому журналу помещение «Лимонаря», над которым, как слышно, ныне трудится г. Анаевский и который, судя по заглавию, будет протестом против западной цивилизации. Нам казалось бы, что к какой бы партии ни принадлежали люди, подобные г. Анаевскому⁸, все-таки их сочинений не должен печатать никакой журнал.

В других журналах мы заметим: комедию г. Львова «Свет не без добрых людей» (в № 3 «Отечественных записок») и рассказ г. Печерского «Поярков» (в № 4 «Русского вестника»).

Комедия г. Львова написана в том духе, который стал входить в моду с тяжелой руки г. Щедрина⁹. Нам нет надобности много говорить о своем полном сочувствии к этому прекрасному, истинно дельному направлению, которое с восторгом принято всею публикою. Очевидно также, что комедия г. Львова находится в близкой связи с комедиею графа Соллогуба «Чиновник» — она разоблачает тип праздных, ни к чему не способных и однако же способных на многое дурное людей, которые самодовольно твердят: «я оказываю честь и услугу моему отечеству

тем, что служу. Я человек бескорыстный; я не нуждаюсь в жалованье; я служу затем, что, если б я не служил, мое место занимал бы взяточник» и т. д. и т. д. Михайло Васильич Лисицкий — это Надимов, сведенный с своего пьедестала, показанный благосклонному зрителю в собственной своей коже, без прикрас, в которые рядится он собственным красноречием¹⁰. Лисицкий, подобно Надимову, жертвует собою на пользу отечества: «Возьмите вы долг гражданина, — говорит он: — человека, преданного вполне своему отечеству; и скажите сам, мог ли я не служить? Я жертвую всем затем, чтобы достигнуть того положения, в котором я буду в состоянии приносить действительную пользу обществу, содействием моим к искоренению подлого взяточничества между чиновниками, водворению правды в судах, улучшению быта крестьян»... Вы не подумайте, что он просто проматывает деньги в Петербурге, — нет, он действительно жертвует всем своей высокой цели: и крестьянами своими, которых разоряет, и честью своею, которую компрометирует разными проделками для получения денег и обманыванием своих кредиторов. В служебных делах он ничего не смыслит, получает награды за проекты, писанные для него бедняком, которому он не платит вознаграждения, обещанного ему за труд, и жену которого хочет соблазнить, он обещает хлопотать за негодяя, который дал ему взаймы денег и т. д., и т. д.».

«Поярков» по своему направлению также сходен с рассказами г. Щедрина, но это не подражание «Губернским очеркам», — напротив, г. Печерский обладает талантом, более значительным, нежели г. Щедрин, и по всей справедливости должен быть причислен к даровитейшим нашим рассказчикам. Его «Семейство Красильниковых» произвело сильное впечатление своими чисто литературными достоинствами, независимо от направления. В «Пояркове» талант его обнаружился не менее замечательным образом. По художественному достоинству, этот рассказ останется одним из лучших произведений нашей литературы за настоящий год. Людей, которые могут писать очень дельные и благородные рассказы, довольно много; людей, которые могут писать произведения, отличающиеся чисто литературными достоинствами, также довольно много. Но таких, которые бы соединяли значительный литературный талант с таким знанием дела и с таким энергическим направлением, как г. Печерский, очень мало. Надобно жалеть о том, что он пять или шесть лет молчал, напечатав своих «Красильниковых»¹¹. Если он опять вздумает поступить так же после «Пояркова», на нем будет тяжелая вина, которой не простит ему никто из его почитателей, — он должен писать. Содержание «Пояркова» мы не рассказываем, предполагая, что каждому из читателей уже известен этот превосходный очерк служебных дел и скитского быта.

Апрель 1857¹

<Славянофилы и вопрос об общине. — «Опыт изложения главнейших условий успешного сельского хозяйства» Струкова.>

Просим гг. читателей и всех вообще гг. литераторов и ученых обратить особенное внимание на записку В. И. Ламанского «О распространении знаний в России», напечатанную в этой книжке «Современника». В рукописи этот проект был прочитан многими из ученых и литераторов обеих наших столиц, и в каждом из читавших основная мысль проекта возбуждала живое участие и полное одобрение как своего верностью, так и полезностью.

В прошедшем месяце, по поводу прекрасных статей г. Самарина в первой книге «Русской беседы» нынешнего года, заговорив о том, что может быть одобрено в славянофильстве, мы сказали только половину того, что хотели сказать. Мы слегка коснулись тех сторон западноевропейской жизни, которые в каждом благомыслящем человеке, какой бы стране он ни принадлежал, возбуждают скорбное чувство и заставляют лучших мыслителей Западной Европы признавать настоящую степень развития западноевропейской жизни состоянием еще чрезвычайно неудовлетворительным. Сотни таких сторон представляются в настоящее время западноевропейскою жизнью; из них мы назвали только две-три, и, однако же, уже довольно было фактов, совершенно оправдывающих строгое суждение передовых людей Западной Европы о нынешнем быте их стран. Мы говорили, что это мнение, разделяемое и у нас всеми серьезными людьми, составляет одну из справедливых основ так называемого славянофильства, и хотя облекается в нем различными произвольными туманами, значительно уменьшающими чистую его справедливость, но ни у кого из образованных людей между славянофилами не искажается до того, чтобы эти любимые туманные примеси совершенно искажали его ценность для развития гуманных идей. Мы говорили также, что, даже со всеми этими примесями, оно все-таки гуманнее и полезнее для нашего развития, нежели мнения многих из так называемых западников, именно, всех тех, которые воображают, что, например, Англия и Франция в настоящее время — очень счастливые земли и, восхищаясь их благоденствием, часто невпопад превозносят именно то, что в этих странах очень дурно, — например, страшное развитие искусственных потребностей и роскоши. Этою зловредною мишурою ослепляются очень многие, — и если уж выбирать между ними и славянофилами, то, конечно, надобно отдать предпочтение славянофилам.

Тут мы противопоставляем славянофилов классу людей, хотя и очень многочисленному, но пустому; иметь превосходство над ним не есть еще особенная заслуга, а качество, необходимо принадлежащее каждому человеку серьезного образа мыслей; и в славянофилах, как мы сказали, достоинство этого качества даже уменьшается произвольными фантазиями, в которые слишком многие из них облачают здравые суждения о недостатках современного западноевропейского быта, занятые ими из западных источников. Особенного сочувствия к ним питать тут еще не за что: выгодно отличаясь серьезным взглядом на Западную Европу от пустых ее панегиристов, они от каждого серьезного западника отличаются в этом отношении только тем, что, к своей невыгоде, вмешивают в серьезный взгляд много фантазий, которыми навлекают на себя насмешки от всех и негодование от тех, которые опасаются, что эти фантазии могут распространиться в нашем обществе.

Но, говорили мы в прошедший раз, есть в славянофильстве другая сторона, которая ставит славянофилов выше многих из самых серьезных западников. Мы обещались поговорить о ней в нынешний раз и постараемся выставить ее как можно яснее на одном стремлении [, появлением которого на Западе начинается новая эпоха всемирной истории и благовременное усвоение которого нами составляет дело великой важности: теперь судьба нашего народа на много веков еще в наших руках; через пятьдесят, быть может, через тридцать лет, или — кто знает, замедлится или ускорится неизбежный ход событий? — быть может, и раньше, будет уже поздно поправлять дело. Тяжелый переворот совершается на Западе;] во Франции [он] прошел уже несколько [медленных мучительных] кризисов, [до основания потрясавших благосостояние всего народа;] кто хочет убедиться, что то же совершается и в Англии, может прочесть — хотя бы «Тяжелые времена» Диккенса (роман этот переведен и на русский язык), если не хочет читать монографий о хартизме. Но в будущем этим странам предстоят еще более продолжительные, еще более тяжелые страдания. [От нашей предусмотрительности теперь еще зависит спасти наше отечество от этих испытаний].

Обеспечение частных прав отдельной личности было существенным содержанием западноевропейской истории в последние столетия. Совершенного ничего нет на земле, но в чрезвычайно высокой степени цель эта достигнута на Западе. Право собственности почти исключительно перешло там в руки отдельного лица и ограждено чрезвычайно прочными неукоснительно соблюдаемыми гарантиями. Юридическая независимость и неприкосновенность отдельного лица повсюду освящены и законами и обычаями. Не только англичанин, гордый своею личною независимостью, но и немец, и француз может справедливо сказать, что пока не нарушает законов, он не боится ничего на земле, что личность

его недоступна никаким посягательствам*. Но, как всякое одностороннее стремление, и этот идеал исключительных прав отдельного лица имеет свои невыгоды, которые стали обнаруживаться чрезвычайно тяжелым образом, едва он приблизился к осуществлению с забвением или сокрушением других не менее важных условий человеческого счастья, которые казались несовместны с его безграничным применением к делу. Одинаково тяжело для народного благоденствия легли эти вредные следствия на обоих великих источниках народного благосостояния, на земледелии и промышленности. Отдельный человек, ставши независим, оставлен был беспомощным. [Безграничное соперничество отдало слабых на жертву сильным, труд на жертву капиталу.] При переходе всей почти земли в собственность частных лиц явилось множество людей, не имеющих недвижимой собственности; таким образом, возникло пролетариатство. Владельцы мелких участков, на которые распалась земля во Франции, не имеют возможности применить к делу сильнейших средств для улучшения своих полей и увеличения жатв, потому что эти средства требуют капиталов и применимы только в больших размерах. Они обременены долгами. В Англии фермеры имеют капиталы, но зато без значительного капитала невозможно в Англии и думать о заведении фермы, а люди, имеющие значительный запас наличных денег, всегда немногочисленны пропорционально массе народа, и потому большинство сельского населения в Англии — батраки, положение которых очень печально. В заводско-фабричной промышленности вся выгода сосредоточивается в руках капиталиста, и на каждого капиталиста приходится сотни работников-пролетариев, существование которых бедственно. Наконец, и земледелие и заводско-фабричная промышленность находятся под властью безграничного соперничества отдельных личностей; чем обширнее

* Вероятно, почти каждый из наших читателей понимает различие частных прав от государственных. Для избежания всякой возможной ошибки мы определим здесь это различие. Во Франции в нынешнем веке девять раз изменялась форма правления (консульство, первая империя, Бурбоны, сто дней, снова Бурбоны, июльская монархия, республика без президента, республика с президентом, вторая империя) и каждый раз изменялись соответственно тому государственные или политические права граждан, то есть степень их участия в государственном управлении, и т. д. Но со времени издания наполеоновых кодексов не изменялись частные права, то есть законы об отношениях между отдельными гражданами по собственности, по семейному праву и отношения их к гражданскому и уголовному суду не изменялись ни в чем существенном. Гражданские и уголовные законы во всей Западной Европе имеют гораздо более общего, нежели государственное устройство. [Франция ныне почти неограниченная монархия, Англия — почти аристократическая республика на деле, хотя и называется конституционно монархией, швейцарские кантоны — демократические республики, но юридические права отдельного человека в них почти одинаковы. Эти права составляют существенное благо общественной жизни, а государственное устройство — форма, имеющая целью их обеспечение и, смотря по различию обстоятельств, бывает в каждой стране своя особенная].

размеры производства, тем дешевле стоимость произведений, потому большие капиталисты подавляют мелких, которые мало-помалу уступают им место, переходя в разряд их наемных людей; а соперничеством между наемными работниками все более и более понижается заработная плата. Таким образом, с одной стороны, возникли в Англии и Франции тысячи богачей, с другой — миллионы бедняков. По роковому закону безграничного соперничества богатство первых должно все возрастать, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем числе рук, а положение бедняков должно становиться все тяжелее и тяжелее. Но и в настоящем положение дел так противоестественно и тяжело для девяти десятых частей английского и французского населения, что необходимо должны были явиться новые стремления, которыми отстранялись бы невыгоды прежнего одностороннего идеала. Подле понятия о правах отдельной личности возникла идея [о союзе и братстве между людьми: люди должны соединиться в общества, имеющие общий интерес, сообща пользующиеся силами природы и средствами науки для наивыгоднейшего всем производства и для экономного потребления производимых ценностей]. В земледелии [братство это] должно выразиться переходом земли в общинное пользование [в промышленности — переходом фабричных и заводских предприятий в общинное достояние компании всех работающих на этой фабрике, на этом заводе. Только это новое устройство экономического производства может дать благосостояние целому, например, французскому или английскому племени, и население этих стран, состоящее из тысячи богачей, окруженных миллионами бедняков, превратить в одну массу людей, не знающих роскоши, но пользующихся благоденствием].

Это новое стремление к союзному [производству и потреблению] является [естественным] продолжением, расширением, дополнением прежнего стремления к обеспечению частных прав отдельной личности. В самом деле, не надобно забывать, что человек не отвлеченная юридическая личность, но живое существо, в жизни и счастья которого материальная сторона (экономический быт) имеет великую важность; и что потому, если должны быть для его счастья обеспечены его юридические права, то не менее нужно обеспечение и материальной стороны его быта. Даже юридические права на самом деле обеспечиваются только исполнением этого последнего условия, потому что человек, зависимый в материальных средствах существования, не может быть независимым человеком на деле, хотя бы по букве закона и провозглашалась его независимость. [А при известной густоте населения и при известной степени развития экономических отношений (появление хороших путей сообщения, обширной торговли, механических способов производства и т. д.) материальное благосостояние может быть доставлено массе населения только экономическим соединением производителей для труда и потребления].

Но введение лучшего порядка дел чрезвычайно затруднено в Западной Европе безграничным расширением юридических прав отдельной личности. Братья в соединении живут гораздо с большим благосостоянием, нежели могли бы жить разделившись, — истина, известная у нас каждому поселянину («раздел семьи на отдельные хозяйства разоряет семью» — это знает каждый у нас), но, живучи вместе, каждый из братьев должен жертвовать частью своего полновластия родовому союзу, ограничивать свои капризы, противные общей (и в том числе его собственной) пользе. [Только при взаимном ограничении полновластия каждого из членов возможен всякий союз.] Но нелегко отказываться хотя бы даже от незначительной части того, чем уже привык пользоваться, а на Западе отдельная личность привыкла уже к безграничности частных прав. Пользе и необходимости взаимных уступок может научить только долгий горький опыт и продолжительное размышление. На Западе лучший порядок экономических отношений соединен с пожертвованиями, и потому его учреждение очень затруднено. [Эти затруднения громадны. Так громадны, что хотя нельзя признать дальновидным и вместе добросовестным того публициста Западной Европы, который сомневается в окончательном торжестве нового стремления к союзному производству и потреблению (надобно быть этому публицисту или недалекновидным, или не беспристрастным, то есть не совсем добросовестным, чтобы отрицать неизбежность этого торжества; да, мы забыли третью альтернативу: можно быть человеком, не знающим современных идей, не имеющим понятия об истинном смысле современных событий, и все-таки считаться публицистом) — невозможно дальновидному и добросовестному публицисту во Франции или в Англии не быть уверену в торжестве нового начала, но бог знает, удастся ли нам или внукам нашим видеть мирное владычество нового экономического принципа в Западной Европе. Не в том препятствие, как говорят обыкновенно его противники, что новая экономическая теория еще недостаточно формулирована наукою: общий принцип ясен для всех, кто хочет знать его, а технические подробности никогда не определяются предшествующею теориею, они даются практикою, самым исполнением дела и местными условиями. И не в том затруднение, как говорят иные, чтобы вообще новый принцип требовал непременно той или другой государственной формы и был враждебен какой-нибудь из них, такая гипотеза совершенное заблуждение, хотя она и очень распространена. Как земледелие, так фабрика и завод, как торговля, так всякая экономическая сила, принцип ассоциации по своему существу чужд политических пристрастий и равно может уживаться со всякою формою государственного устройства. Наш Александр I и его союзник, король прусский, неограниченные монархи, король английский, конституционный монарх, его брат, герцог Кентский, аристократические министры

Англии, стремившиеся тогда к восстановлению олигархии и к уничтожению государственных прав Англии, северо-американские демократы — все одинаково ободряли Роберта Овена. По сущности своей, принцип ассоциации — дело вовсе не политическое, а чисто экономическое, повторяем, как торговля, как земледелие он требует одного: тишины, мира, порядка — благ, существующих при каждом хорошем правительстве, какова бы ни была форма этого правительства. Нет, не в этих мнимых препятствиях дело — оно задерживается в Англии и Франции затруднением, гораздо более тяжелым, нежели формулирование принципа наукою или какое-нибудь государственное учреждение, — оно задерживается привычками целого народа. Тут, мы готовы повторить все возражения, какие с точки зрения народных обычаев в своих землях делают экономисты старой школы социалистам]. У французского поселенина одно стремление в жизни — прикупить побольше и побольше земли к своему участку; у английского фермера одно стремление — возвысив по возможности доход с своей фермы, забирать и забирать соседние участки в наем, для увеличения своей фермы; у его работника одна мечта — сделаться фермером. Для них всех мысль об улучшении своего состояния срослась с мыслью о полной власти над землею, которую он обрабатывает. Несколько иначе, но та же самая мысль о безотчетном распоряжении своею деятельностью давно проникла английского и французского фабричного работника. Для введения союзного производства в этих землях надобно в целом народе, огромнейшая масса которого еще погрязает в невежестве и не привыкла к размышлению о своих обычаях, вселить новое убеждение, и не только вселить его, но и утвердить до такой силы, чтобы оно взяло верх над обычаями и привычками, которые чрезвычайно сроднились со всем образом жизни тех племен, — надобно путем разумного убеждения перевоспитать целые народы. Какой гигантский труд для этого требуется — вполне понимает только тот, кто перевоспитывал себя. [Окончательный успех этого дела не подлежит сомнению, потому что к тому ведет историческая необходимость, — но страшно и подумать о том, сколько времени и усилий оно требует, сколько страданий и потерь уже стоит и будет стоять оно. Не удивительно, что люди близорукие, или отсталые, или своекорыстные называют утопистами тех, которые признают юридическую справедливость, логическую разумность и историческую необходимость введения начала ассоциации в экономическую жизнь западных народов, наиболее подвинувшихся в своем экономическом развитии].

То, что представляется утопиею в одной стране, существует в другой как факт. Утопиею кажется для французского мыслителя необходимое условие народного благоденствия во Франции, как и повсюду — сознательное благоговение народа перед законом и его органами, от министерства до последнего полицейского служителя, одним своим появлением вводящего в границы закона бес-

численную толпу, разгоряченную политическими страстями, — эта черта быта, кажущаяся утопиею во Франции, существует в Англии как народный обычай. Точно так, те привычки, проведение которых в народную жизнь кажется делом неизмеримой трудности англичанину и французу, существуют у русского как факт его народной жизни. У нас есть землевладельцы с юридическим полномочием английского или французского землевладельца (помещики, купцы и разночинцы, купившие себе землю, однодворцы, несколько тысяч крестьян, владеющие собственною землею), — но они составляют, сравнительно с массою народа, еще очень немногочисленный класс, понятия которого о полновластной собственности отдельного лица над землею еще не проникли в сознание массы нашего племени. По праву полновластной собственности обрабатываются у нас уже мильоны десятин (все земли, обрабатываемые в пользу людей, не принадлежащих к сельской общине, — именно земли купцов-землевладельцев и разночинцев-землевладельцев; участки, оставляемые для собственного хозяйства помещиками, не могут быть причисляемы сюда, потому что и границы и различие между этими и общинными участками не одинаковы, — различие то возникает, то исчезает, смотря по тому, учреждается ли в селе оброк или барщина, да и при барщине разграничение участка помещика и участка его крестьян изменчиво), — но все эти мильоны десятин составляют еще незначительную, быть может, пятнадцатую, быть может, двадцатую часть в общей массе обрабатываемых земель, которые или распределяются для обработки или пользования по общинному началу (почти все земли, возделываемые на себя помещичьими и государственными крестьянами, и все земли, возделываемые на помещика барщиною, так же как и мирские запашки в казенных селениях), или принадлежат государству, то есть всей нации (оброчные статьи). Масса народа до сих пор понимает землю как общинное достояние, и количество земли, находящейся в общинном владении, или пользование ими под общинною обработкою, так велико, что масса участков, совершенно выделившихся из него в полновластную собственность отдельных лиц, по сравнению с ним, незначительна. Порядок дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад, еще существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского быта. Существовал некогда он и на Западе, по крайней мере во многих странах Запада, но утрачен там в одностороннем стремлении к полновластной собственности отдельного лица.

Мы видим, какие печальные следствия породила на Западе утрата общинной поземельной собственности и как тяжело возвратить западным народам свою утрату. Пример Запада не должен быть потерян для нас. Вопрос о земледельческом быте важнейший для России, которая очень надолго останется государством по преимуществу земледельческим, так что судьба огромного боль-

шинства нашего племени долго еще — целые века — будет зависеть, как зависит теперь, от сельскохозяйственного производства.

Но того нельзя скрывать от себя, [что мы живем в переходной эпохе], что Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт, доселе остававшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе. Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции [результаты которой, когда она не подчинена закону общения и братства в производстве, уже обнаружилась в Англии и Франции превращением огромного большинства тех племен в людей, не обеспеченных ничем против нищеты, и образованием все расширяющейся язвы пролетариата. И мы, как западные народы, скоро почувствуем необходимость не подчиняться рабски этому закону, роковому в своей односторонности. И теперь уже обнаруживаются первые признаки этого закона в тех отраслях экономической деятельности, где введены улучшенные способы, — уже большие капиталисты оттесняют малых *].

В настоящее время мы владеем спасительным учреждением, в осуществлении которого западные племена начинают видеть избавление своих земледельческих классов от бедности и бездомности. Но, при новой эпохе усиленного производства, в которую вступает Россия, многие из прежних экономических отношений, конечно, изменятся сообразно потребностям времени. Вообще мы думаем, что менее всех подвержен опасности ошибиться в расчетах тот, кто менее всех поддается надеждам, что чем скромнее воображать будущность, тем лучше. Возьмите самую скромную оценку результатов начинающегося промышленного движения в России для близкого будущего, — мы готовы для прочнейшей безопасности от преувеличенных ожиданий сократить ее еще вдвое, втрое. Через десять лет мы будем иметь по крайней мере четыре тысячи верст железных дорог, через тридцать лет, по самому скромному расчету, тридцать тысяч верст, мы спустимся на цифру вдвое меньшую, — положим, что мы будем иметь через тридцать лет только пятнадцать тысяч верст железных дорог в Европейской России. По самому скромному расчету, сельская цена хлеба в замосковских губерниях, прорезываемых железными дорогами, возрастет вдвое, — мы согласны принять, для большей скромности расчета, возвышение цены только на пятьдесят процентов. Са-

* [Укажем один пример. На наших глазах быстро исчезает на Волге многочисленный зажиточный класс судовладельцев, уступая место нескольким заведениям паровой перевозки товаров. Построение железных дорог, что бы ни говорили, вытесняет многочисленный и вообще пользующийся благосостоянием класс людей, промышлявших извозом по главным дорогам. Подвоз товаров по железным дорогам, что бы ни говорили, будет для них уже более тесным поприщем промысла.]

мые скромные расчеты предсказывают, что через тридцать лет наша внешняя торговля утроится, — мы, вместо двухсот процентов увеличения, возьмем для большей осторожности только сто процентов, и будем полагать, что она только удвоится. Точно так же будем умерять наши надежды и относительно всех других изменений в нашем экономическом быте, — будем умерять их ниже самых осторожных расчетов. Все-таки величина изменений будет очень чувствительна. Удвоение капиталов, удвоение промышленной и торговой деятельности в течение очень немногих лет, прежде чем наши дети сменят нас, — это слишком скромный расчет, а удвоение капиталов, торговли и производства есть уже необыкновенно важный переворот в быте, и многое в нынешнем экономическом порядке должно измениться вследствие его. Мы хотим всем этим сказать, что при самой величайшей склонности вводить свои ожидания и предположения в самую тесную мерку нет возможности не сознаться, что мы живем в эпоху значительных экономических преобразований.

[Мы не хотим решать, каковы именно будут эти преобразования,] достоверно [только то], что развитие экономического движения, заметным образом начинающееся у нас пробуждением духа торговой и промышленной предприимчивости, построением железных дорог, учреждением компаний пароходства и т. д., необходимо изменит наш экономический быт, до сих пор довольствовавшийся простыми формами и средствами старины. Волею или неволею мы должны будем в материальном быте жить, как живут другие цивилизованные народы. До сих пор семейство наших поселян покупало только соль, колеса, вино, сапоги, кушаки, серьги и проч., и проч., — все остальное производилось домашним хозяйством: и сукно и ткань для женского платья и для белья, и обувь, мебель, и самая изба с печью. Скоро будет не то: домашнее сукно сменится на поселянине покупным фабричным (мы не знаем, будет ли он покупать фабричное сукно лучшего сорта, нежели покупает теперь, но в том нет сомнения, что его жена разучится ткать сукно), — льняные и посконные ткани домашнего изделия сменяются хлопчатобумажными (которые, очень может быть, будут не выше их добротой, но все-таки вытеснят их своею дешевизной) и т. д., и т. д. Все это совершится еще на глазах нашего поколения в селах, как до сих пор совершилось только в больших городах. Мы говорим это только для примера, чтобы разъяснить мысль о том, что неизбежны перемены в экономическом нашем быте, не решая того, каковы именно будут они. Но каковы бы ни были эти преобразования, да не дерзнем мы коснуться священного, спасительного обычая, оставленного нам нашею прошедшею жизнью, бедность которой с избытком искупается одним этим драгоценным наследием, — да не дерзнем мы посягнуть на общинное пользование землями, — на это благо, от приобретения которого теперь зависит благоденствие земледельческих классов Западной

Европы. Их пример да будет нам уроком. [Теперь мы еще можем воспользоваться этим уроком. Теперь, когда мы еще только предвидим изменения, именно и нужно нам приготовиться к тому, чтобы сознательно встретить события и управлять их ходом, сознательно испытывая наши стремления и удерживаясь одностронностей, которые уже обнаружили горький результат свой на Западе, но могут быть обольстительны вначале, могут казаться неважными, даже полезными. Всякая новизна так обольстительна. Так и предоставление земли в безграничную собственность отдельному человеку может представиться средством повысить производительность труда].

Истина медленно распространяется не только в убеждениях массы, — она медленно принимается и учеными. Рутинна сильна. Араго долго отвергал и возможность и пользу железных дорог. Астрономы и математики отвергали закон тяготения, врачи — обращение крови в жилах, долго после того, как эти истины были провозглашены Ньютоном и Гарвеем. Так [и учение о необходимости союзного производства до сих пор упрямо отвергается большинством экономистов. Они привыкли] повторять слова, бывшие одностронним девизом прежних стремлений: «свобода торговли», «свобода труда», «свободное установление цен», «свобода употребления капиталов» и т. д., и т. д. [давно уже открыто, что этот лозунг недостаточен, что он должен быть дополнен идеями солидарности, союза, наконец идеєю справедливости. Но] в большей части экономических сочинений все еще повторяется, как единственная истина, рутинный, одностронний лозунг. Принять его нам было бы вдвойне пагубно: он не только помешал бы верному направлению нашего собственного производства [как мешают на Западе], — он возбудил бы нас к разрушению благотворного учреждения, заветанного нам веками. А многие из наших экономистов, не приняв этого в соображение, или увлекшись теми временными и одностронними выгодами, какие принцип безграничной поземельной собственности отдельного лица обещает увеличению производства, слишком доверчиво повторяют мнения об этом предмете, находимые в большей части западноевропейских экономических сочинений. Чтобы не оставить этого общего суждения без подтверждений примерами и чтобы показать, какие выгоды обещает [и о каких неудобствах своих умалчивает принцип полновластной собственности отдельного лица], мы обратим внимание читателей на некоторые места в статье г. Струкова «Опыт изложения главнейших условий успешного сельского хозяйства» («Экономич. указ.», №№ 5, 7, 9 и 10), говорить о достоинстве которой мы уж имели случай. [Главными препятствиями успешному развитию сельского хозяйства автор выставляет: 1) обязательный труд; 2) исключительное право некоторых сословий владеть землями, — все это очень верно; но третьим препятствием считает он] «обществен-

ное пользование землями». Автор, по примеру очень многих экономистов Западной Европы, находит общинное владение землями столь безнадежно вредным, что даже о слабых остатках его во Франции считает нужным упомянуть неприязненно: «Общественное пользование землями, без раздела на семейные участки (говорит он), сохранилось еще местами в некоторых местностях европейского материка и особенно в Восточной Европе. Во Франции и в Бельгии, между прочим, земли общественного пользования были или естественно бесплодные, или истощенные беспорядочным пользованием, и оставленные под общественный выгон и редко под пастбище; лучшие земли по различным случаям перешли в частную собственность. Во Франции насчитывают до 1 000 000 гектаров городских и сельских общественных земель. Общины не знают, что с ними делать, ибо никто не хочет брать их в оброк, а между тем общины не имеют права отчуждать их в частную собственность и должны платить за них поземельную подать. Пользуются же ими только беднейшие жители без всякой платы, для пастбищ».

Дело выставлено в очень невыгодном виде. Кажется, этим примером безвозвратно осуждается общинное владение—общины тяготеют своими землями, не знают, что с ними делать; но вниманием в подробности этого очерка и увидим, что одна из них подбывает справедливость другой и ни одна не относится к самому принципу общинного владения, а разве только к местным злоупотреблениям городской и сельской администрации во Франции. «В общинном владении сохранились только земли бесплодные или истощенные», — «лучшие земли», бывшие в общинном владении, «перешли в частную собственность по разным случаям», — а между тем закон воспрещает «отчуждение общинных земель в частную собственность» — как же могли лучшие участки быть отчуждены? Ясное дело, в противность закону, злоупотреблением местной администрации. Можно ли ожидать, чтобы люди, которые нарушают закон до того, что продают или отдают то, чего не имеют права отдавать или продавать, хорошо управляли тем, чего не успели противозаконным образом промотать? Ясно, что виноват во всем не принцип общинного владения, а дурная, злонамеренная администрация, которая одинаково погубит и частное и общинное владение. Идем далее и находим новое доказательство тому: «земли эти истощены беспорядочным пользованием» — ясно ли, в чем дело? Не в общинности, а в «беспорядке», который бывает и в частных поместьях. Или уж в общине не может быть порядка? «Общины не знают, что делать с своими землями, ибо никто не хочет брать их в оброк» — это невероятно; у нас землю не так дорожат, как во Франции, однако же городские земли находят себе нанIMATEЛЕЙ, а во Франции не находят; это невозможно; верно, тут скрываются страшные злоупотребления. Верно, люди, которые заве-

дуют отдачею общинных земель внаймы, составляют фальшивые протоколы о том, что нанимателей не явилось, и потому земли остались пусты. — а сами втихомолку пользуются ими, — не вто ли и есть «беспорядочное пользование», о котором говорилось выше? Но не все общинные земли предназначены к отдаче внаймы — иные «оставлены под общественный выгон» — что ж, эти земли в тягость общинам? — Да, общины «не знают, что с ними делать». — Как? разве никому не приносят они пользы? — Нет, ими «пользуются беднейшие жители без всякой платы, для пастбищ» — а, теперь понимаем: до беднейших жителей никому нет дела во Франции; притом же они пользуются выгоном «без всякой платы» — стало быть, от общинных выгонов не поступает в городскую или сельскую кассу доходов, которыми распорядились бы по-своему люди, заведующие кассою — скажите, какая им выгода от того, что теперь у «беднейших жителей» есть возможность содержать какую-нибудь корову или козу? Какая польза Парижу от того, что тысячи старух кормятся, продавая молоко коров, которых каждая из них содержит по одной, благодаря общественному выгону? — Напротив, это положительный вред. Во-первых, эти коровы дурной породы; у известного сельского хозяина г. Пурсоньяка коровы дают молоко гораздо лучшего качества; во-вторых, эти старухи сами даром бременят землю — пора бы им и честь знать, пора бы костям на место, а то они только безобразят парижские улицы своими ломотьями, — выгоды и чести от них городу нет ни на сантим, а иная, пожалуй, поступит еще на городской счет в богадельню, когда у ней падет ее дрянная корова, — ну, и содержит город старую ведьму — первое, тут прямой убыток; второе — увеличивается цифра нищих, что неприятно в статистических таблицах. То ли дело, если б на месте общественного выгона построилось пять великолепных дач, именно дача г. Миреса, дача г. Фульда, дача доктора Верона, дача г-жи Арманс (вы ее знаете, премилая женщина) и дача г. Мишеля Шевалье, бывшего сен-симониста, а ныне, если не ошибаемся, сенатора. Они давно уж приискивают подгородных участков для дач. Проклятый закон, не позволяющий продать общественного выгона!

Факты относительно общинного владения излагаются экономистами старой школы пристрастным образом, и доверчиво принимать составляемые ими картины значит впадать в постоянные ошибки. Мы виним в ошибках, нами указанных, гораздо более тех авторов, из которых г. Струков почерпал свои сведения о французском общинном владении, нежели г. Струкова, — конечно, ему не было случая проверить на месте их показания; но все-таки он мог бы заметить внутреннюю несообразность этих показаний, если бы предостережен был относительно пристрастного взгляда старой экономической школы в этом случае. Он проверил бы их другими источниками, и тогда, вероятно, пере-

стал бы так решительно утверждать, что общинные земли не приносят пользы благосостоянию французского народа. Разберем же тот взгляд на общинное владение, который слишком доверчиво принимается от экономистов старой школы многими из наших ученых, и в том числе г. Струковым. Прежде всего посмотрим, ясно ли понимают они явление, против которого встают, — как они определяют его?

«Общинное пользование (говорит г. Струков, отчасти со слов западных экономистов старой школы, отчасти по фактам русского быта) существует преимущественно в двух видах: одно, в котором луга и поля разделяются ежегодно или в самые краткие сроки, с общего согласия, по числу наличных и в том числе прибылых хозяев, равномерно или соответственно повинностям и оброкам, причем выгоны, пастбища, леса и неудобные земли остаются общими, некоторые же угодья или выгоны обращаются в мирские оброчные статьи; и другое, в котором, по взаимному согласию или распоряжению собственника, члены общества разделяют полевые земли между наличным числом хозяев на семейные участки бессрочно или на продолжительный срок (по участку в каждом поле, без участия в полевых землях прибылых хозяев), продолжая затем делить луга ежегодно, пользоваться выгонами и другими удобствами общественно или образовать из некоторых угодий и удобств оброчные статьи.

«В обоих случаях ни земли правительства, ни земли владельцев не могут переходить в собственность постороннюю по произволу членов общества или самой общины. Даже когда община владеет землею, как собственностью, случаи отчуждения, если они не ограничены законом, бывают весьма редки, завися от общего согласия, которое чаще дается на приобретение новых земель и иногда на обмен старых, нежели на отчуждение».

О чем тут идет дело? В начале, очевидно, о способах общинного пользования землею; в конце, очевидно, о принципе общинного владения, — это два понятия совершенно различные; если они смешиваются, доказательства против общинного владения теряют всякую силу; положим, что способ пользования вещью дурен — следует ли из того, чтобы вещь была сама по себе дурна? Вовсе еще нет; докажите прежде, что не может быть иного, лучшего способа пользования ею. Положим, что доказательства, которые представит г. Струков, будут решительно доказывать вред обоих способов пользования, им указанных — из того следует только, что эти способы должны быть заменены другими, лучшими, но нисколько не следует, чтобы сам принцип был дурен. Иначе можно доказывать (и многие уже доказывали) вред просвещения, фабрик, машин, улучшенных путей сообщения, [свободы правительства,] мира, благосостояния, — словом, какого угодно благого принципа, потому что каждым принципом можно дурно пользоваться.

При таком смешении понятий, которое мы нашли в самом определении явления, выставляемого препятствием к развитию сельского хозяйства, едва ли можно ожидать таких возражений против этого явления, которые выдержали бы критику. Просмотрим, однако, их в том порядке, как они излагаются у г. Струкова.

«Общественная поземельная собственность или общественное поземельное пользование, — говорит он, — остатки кочевого состояния племен, когда нет побуждений для личной поземельной собственности; при развитии сельского хозяйства и размножении населения, являются в этом порядке дел неудобства, заставляющие желать его прекращения». Но 1) при еще большем развитии населения и сельского хозяйства (когда прилагаются к нему улучшенные способы производства, когда возникают пароходы, паровозы и усиленная торговля) являются вновь необходимые причины желать его возвращения, как доказывает пример Запада. Итак: первый период развития — удобное общинное пользование, второй период — оно имеет свои неудобства; третий, совершеннейший период (в который вступает Западная Европа), общинное пользование вновь становится необходимою. [Стало быть, если бы во втором периоде, в котором находимся мы, удобства общинного пользования и перевешивались его неудобствами, то надобно еще рассмотреть, долго ли нам ждать вступления в третий период; если недолго, то выгоднее переждать кратковременное неудобство, не разрушая общинного порядка, чтобы избавить себя от мучительного процесса восстановления. А быстрый ход новейшей экономической истории заставляет утверждать, что и нам недолго остается до третьего периода. Для удобства на тридцать лет разрушать учреждение, восстановление которого требует вековых мучительных усилий — невыгодно.] 2) Действительно ли даже во втором периоде благие следствия общинного пользования перевешиваются его невыгодами? Если и согласны, что при развитии населения и хозяйства являются не существовавшие прежде удобства на стороне полновластной личной собственности, то исчезают ли все выгоды со стороны общинного пользования? Нимало. Оно обеспечивает каждому члену общины право на участие в пользовании; оно обеспечивает существование каждого отдельного члена общины, доставляя ему право на землю. Без него большинство населения лишается недвижимой собственности и заменяющего ее права пользования недвижимою собственностью, а положение массы пролетариев всегда бедственно, — потому надобно еще взвесить, который из двух порядков более благоприятен благосостоянию всего общества — степень этого благосостояния зависит не только от массы производимых ценностей, но и от их распределения. Берем два участка, каждый в 5000 десятин земли (одна квадратная миля). На каждый участок приходится по 2000 человек

населения. Один разделен на тридцать ферм с улучшенным хозяйством второго периода; каждая десятина дает в общей сложности 20 рублей дохода; из них 5 рублей идут на арендную плату землевладельцу, 6 рублей на уплату и содержание работникам, 9 рублей остаются в пользу фермера. На другом участке, по причине общинного пользования, сельское хозяйство сделало менее успехов, и десятина дает только по 12 рублей дохода, но этот доход весь остается в пользу домохозяев, которые все по общинному началу участвуют в пользовании землею. Сравним же эти участки.

Общая ценность производства на первом участке $5000 \times 20 = 100\ 000$ руб.
 Общая ценность производства на втором участке $5000 \times 12 = 60\ 000$ »

По общей ценности производства участок с фермами гораздо выше участка с общинным пользованием. Но от состояния производства обратимся к состоянию людей, населяющих эти участки. Считаем по семьям, полагая в каждой семье пять человек.

Участок с фермами

1 семья (землевладелец) получает $5 \times 5000 = 25\ 000$ руб.
 30 семей (фермеры) получают $9 \times 5000 = 45\ 000$, или каждая семья по 1500 руб.
 369 семей (наемные земледельцы) получают $6 \times 5000 = 30\ 000$, или каждая семья по 81 р. 25 к.

Участок с общинным пользованием

400 семей получают $12 \times 5000 = 60\ 000$, или каждая семья по 150 руб.

Вывод ясен: на втором участке масса населения пользуется почти вдвое большим благосостоянием, хотя масса производимых ценностей почти вдвое больше на первом участке.

Что кому милее, тот тому и отдает предпочтение: Мишель Шевалье усиление производства — альфа и омега экономической мудрости; он пожелает участок с общинным пользованием обратиться в участок с фермами. Нам кажется, что это было бы разорительно для огромного большинства населения (для 369 семейств, служа в пользу только 31 семейству), потому общинное пользование мы считаем выгодным для нации сохранить на втором участке даже во время того периода, когда оно задерживает успехи производства.

Мы сделали старой школе экономистов уступку, предполагая, что общинное пользование действительно само по себе невыгодно для успехов сельского хозяйства во втором периоде, который продолжался для Европы до конца наполеоновских войн [а для нас еще продолжается, но и у нас будет скоро сменен третьим, как сменился уже им в Англии и Франции]. Делая эту уступку, мы положили в своем примерном расчете, что общинное пользование само по себе значительно уменьшает массу производства. Но действительно ли это так? Надобно внимательнее рассмотреть, в самом ли деле так велики его невыгоды, как уверяет ста-

рая школа экономистов, в самом ли деле эти невыгоды проистекают из самого принципа общинности, или даже хотя из тех способов общинного пользования, которые употребительны у нас, а не вообще от беспорядка и беспечности, — качеств, равно встречающихся и при пользовании по принципу полновластной личной собственности. Просматривая статью г. Струкова, каждый не предубежденный читатель удивится тому, каким образом на общинное пользование складывается он все злоупотребления, происходящие равно и в тех участках, пользование которыми подчинено принципу исключительной и полновластной личной собственности.

Так, например, единственно общинному пользованию ставит он в вину истребление лесов (как будто землевладельцы не рубят без всякой предусмотрительности лично им принадлежащих лесов для чугунных, свекло-сахарных, винокуренных и всяких других заводов и фабрик, не продают их на сруб, на сидку смолы и т. д., и т. д.) — ему исключительно в вину ставит он деревянные избы, неопрятность домашней жизни и т. д., и т. д. — это невероятно, и потому приводим отрывок из его диатрибы. Осталось свалить на общинное пользование землею и безграмотность, и суеверие, и пьянство, и грубость нравов, и все прочие недостатки, встречаемые в быту поселян. В случае нужды мы ручаемся, что по той же методе, как у г. Струкова, можно вывести все эти пороки и недостатки не из чего иного, как именно из общинного пользования землею; и даже приписать исключительно общинному пользованию землею мозоли на руках, частые бельма на глазах и загорелый цвет шеи наших поселян.

Нам кажется, что истребление лесов и курные избы надобно приписать не тому или другому способу пользования, а просто беспечности о будущем, непредусмотрительности, привычке к беспорядочной жизни вследствие различных обстоятельств [и бедности] и что во всем этом общинное пользование столько же виновато, сколько и в безграмотности наших поселян.

Итак, представляем здесь два эпизода:

Эпизод первый, с замечаниями.

«Общественное пользование землями, при обилии свежих малолесных и безлесных земель, сопровождается обыкновенно беспорядочным разделением земель на выгоны, сенокосы, пастбища и поля с распашкою лучших участков в разброс». (Но разве общинность виновата в беспорядке? Нет, сам автор упомянул истинную причину: «обилие земель» — при изобилии кому охота стесняться предусмотрительною экономией? Кто знает рассказы о порядке земледелия лет семьдесят тому назад в нижних поволжских губерниях, знает, что помещик свои запашки и проч. производил в такой же разбросанности, как и община его крестьян; когда много земли, кто же не станет выбирать для рас-

пашки только лучших участков? Полновластный собственник поступал бы и действительно поступал в этом случае точно так же, как община. Общинное начало столь же виновато в этой широкой непредусмотрительности, как и в том, что не засевалось тогда кормовых трав, когда в изобилии находились естественные луга.) «Леса, если есть, продолжают расти без всякого надзора и нередко служат пастбищем для скота». (Когда их изобильно, их не бережет ни общинник, ни полновластный собственник — пример последнего представляет история лесистых стран Западной Европы в XVI—XVII столетиях.) «В местах, обильных лесами, новое заселение земледельцев начинается с занятия полей и вырубки леса для усадебных мест, потом для выгона и наконец для полей, которые, при различных удобствах легчайшей распашки лесных дач, являются в разброс. Постепенно, однако же, с умножением народонаселения, лесные распашки увеличиваются, соединяясь в общие поля и быстро истребляя лесную растительность». (Да разве не точно так же бывает и в лесистых областях Америки при их заселении по принципу личной полновластной собственности западноевропейскими колонистами и северо-американцами? Лес в изобилии, мест для распашки мало, ну, и рубят или жгут лес, который кажется не богатством, а помехою богатству.) «В то же время скот, пасущийся в лесах, с своей стороны уничтожает древесную поросль и подготавливает окончательное истребление леса». (Любопытно было бы узнать, существуют ли лесные изгороди в тех новозаселяемых лесных странах Америки, о которых упомянуто выше? И там скот «гуляет по лесу, уничтожая» и проч., хотя там нет общинного пользования.) «Работы, в том и другом хозяйстве (то есть лесном и степном) производимые, поглощают много тяжелого труда; но, к сожалению, представители этого труда, возбуждаемые только необходимостью обеспечить себя и семейство от враждебных влияний и недостатков в предметах первой необходимости» (а чем же другим возбуждались бы они и без общинного принципа? или северо-американский колонист трудится для осуществления теорий Жана Батиста Сэ, а не для обеспечения себя и своего семейства?) «и не просветленные понятием об исключительной собственности, не дорожат общественной землею» (да разве потому не дорожат, что «не просветлены понятием» и т. д.? Ведь и северо-американский колонист не дорожит землею, и часто три-четыре раза в свою жизнь переселяется все на новые места, хотя и «просветлен» и т. д. Не дорожат тем, что находят в избытке, — вот и все объяснение делу, а не общинность или исключительная собственность. Когда не остается избытка в земле при увеличении населения, община дорожит ею не меньше, нежели отдельный полновластный собственник, — напротив, даже гораздо больше, — ведь община почти никогда не продает земли, как справедливо заметил сам Г. Струков при определении понятия общинности, а отдельный

собственник часто, и очень таки часто, продает ее) «и приучаются к беспорядочному пользованию» (опять прежняя история; повторим и мы: приучаются к беспорядочному пользованию потому, что не дорожат землею по избытку ее, все равно, будут ли они общинники или полновластные собственники), «не заботясь ни о сохранении плодородия земли» (а полновластный собственник разве удобряет истощенную землю, когда стоит ему перенести плуг за версту, чтобы найти свежую землю?), «ни о порядке в домашнем своем быту» (ну вот, и в беспорядках по домашнему быту виновата общинность) «и в исправлении нравственных обязанностей». (О, да и в безнравственности тоже! не она ли виновата и в том, что сибирские инородцы едят или курят ядовитый мухомор, а хивинцы и трухменцы разбойничают? Не моет баба посуды — виновато общинное пользование землями; дети у ней ходят грязные — виновато общинное пользование землями; подралась она с мужем — виновато, — ну, вы уж доскажете сами, читатель: разумеется, все то же общинное пользование землями. Да в том ли только оно виновато? — оно виновато и в том, что у нас по селам деревянные избы, а не каменные. Слушайте:) «Жилые и хозяйственные здания возводятся из самых неценных материалов» (да кто же станет строить избу из дорогих материалов, когда есть для того дешевые или даровые под руками?), «находящихся под руками, и»...

и так далее. Но нам кажется, что при всей многочисленности тяжких обвинений, взведенных на общинную собственность г. Струковым, список их в его статье все еще не полон, и мы, как обещались, дополним его по той же методе.

Эпизод второй, без замечаний.

Приученные к беспорядочной жизни общинным пользованием землею, поселяне не имеют привычки мыть рук мылом и потому часто имеют руки, покрытые пылью и землей; принужденные общинным пользованием много трудиться, они приобретают на руках мозоли, и трудясь на солнце вследствие общинного пользования, без галстука и притом в наклоненном положении над плугом или сохою, чрез что задняя часть шеи прямо подвергается действию палящих лучей солнца, они имеют шеи загорелые, а имея, вследствие того же общинного пользования, в избах своих печи из неценных материалов, о чем смотри в конце первого эпизода, именно, печи, сбитые из глины, не удобной для возведения труб и потому без труб, а также сидя во время полевых работ у огня, разводимого вследствие общинного пользования землею для сварения кашицы или пустых щей, они постоянно имеют свои глаза подверженными едкому и вредному действию дыма, отчего и подвергаются особенно часто болезням глаз, как-то куриной слепоте, бельмам и наконец совершенной слепоте. Во всем этом очевидно виновато общинное пользование землею.

После этих двух эпизодов, вы согласитесь, читатель, нельзя не сказать вместе с г. Струковым, что общинное пользование землею есть «зловредная язва», которая достойна всяких проклятий.

И, основываясь на такой логике, решают вопрос, от которого зависит судьба нашего племени на много поколений!

Неужели же нет в статье г. Струкова и таких возражений против общинного пользования землями, которые бы хотя сколько-нибудь шли к делу? Есть, но их очень немного, и мы выберем все их из массы рассуждений, подобных приведенным выше. Вот они:

1) Когда земли настолько истощены, что нуждаются в удобрении, то при частом переделе участков поселянину нет охоты удобрять с особенным старанием участок, могущий достаться другому через год, через два. Это относится только к первому способу пользования, с ежегодным переделом, а сам г. Струков указывает другой, с продолжительными сроками. Итак, где не нужно еще удобрения, может быть, без особенных неудобств, ежегодный передел земли; где нужно удобрение, сроки должны быть продолжительны. У нас еще не Англия, мы не можем, при каком угодно хозяйстве, затрачивать сотни рублей на удобрение одной десятины. Потому и сроки пользования не имеют надобности быть столь продолжительными, как в Англии. Но передел земли должен изменять расположение участков только по мере нужды — так и делается там, где есть удобрение. При перемежевании участка, вынуждаемом только крайнею необходимостью, община должна вознаграждать за потерю прежнего хозяина, если он получает участок земли менее удобренный, нежели его прежний. Этим совершенно устраняется неудобство передела для заботливости поселянина об увеличении плодородия своего участка.

2) При общинном пользовании, не допускающем заботливости об удобрении, расширение производства возможно только посредством увеличения запасок. Мы видели, что причина легко устраняется; потому и следствие, из нее выводимое, устраняется также легко. Улучшение земли, а следовательно, и увеличение производства без увеличения запасок очень возможно при общинном пользовании.

3) При общинном пользовании, не допускающем удобрения, возможна только трехпольная система хозяйства, основанная на отдыхе земли под паром, без удобрения. Ответ тот же: удобрение земли возможно, и потому вместо трехпольного хозяйства возможно плодопеременное.

4) Привыкнувши подчиняться в своих делах общине, поселянин отвывает от самостоятельности, теряет личность, теряет предприимчивость и т. д., и т. д. Ну, это уж вопрос не сельскохозяйственный, а нравственно-исторический. История и нравственные науки говорят не то: разьединенность обессиливает и деморализует

Людей, союз укрепляет их нравственные и умственные силы и ободряет их волю. Русский народ, хотя и не знает ни истории, ни психологии, знает эту истину из ежедневного опыта и выразил ее поговорками: «один воин в поле не рать», «один ум хорошо, а два лучше» и «на людях и смерть красна».

Неужели только эти возражения и имеются в статье г. Струкова против общинного пользования? Только. И не только других нет, но и не может быть. Все, что было говорено об этом у западных экономистов старой школы и их русских последователей, сводится к двум мыслям:

Общинное пользование не допускает удобрения и улучшения земли (на этой гипотезе основаны два другие возражения г. Струкова).

Община убивает энергию в человеке.

Кроме этих двух избитых и давно опровергнутых мыслей, вы ничего не найдете сказать против принципа общинного пользования землею, хотя насыпаны по этому поводу целые горы возражений экономистами старой школы, — все эти горы заключают в себе, кроме названных нами двух мыслей, только более или менее блестящий, более или менее пыльный песок праздных слов, не связанных никакою логикою и не только легко отбрасываемый рукою, но разлетающийся от одного дуновения.

Из двух мыслей, попавших в эти горы фраз, одна:

«Общинное пользование не допускает удобрения и улучшения земли» — касается только одного способа общинного пользования, с ежегодным переделом земли, и нимало не касается другого способа — общинного пользования с продолжительными сроками.

Еще менее касается она самого принципа общинного пользования землею, допускающего и третий способ пользования, кроме двух названных, именно: общинное пользование землею без передела земли между членами общины.

Наконец, принцип общинной собственности на землю не входит даже в объем этой мысли, относящейся единственно к понятию пользования, а не к существенно отличному от него понятию собственности.

Не говорим уже о том, что ей чуждо различие между понятиями полновластной и ограниченной собственности.

Другая мысль:

«Община убивает энергию в человеке» — относится не к сфере экономических, а к сфере нравственно-исторических наук и решительно противоречит всем известным фактам истории и психологии, доказывающим, напротив, что в союзе укрепляется ум и воля человека.

Мы хвалили и хвалим статью г. Струкова, кроме тех мест, которые говорят об отношениях общинного пользования землею к успехам сельского хозяйства. Потому именно и остановили мы на ней внимание, что она хороша. И если эта часть ее, которая

говорит об общинном пользовании, не выдерживает критики, вина в том, не за г. Струковым, а за теорию, которой вздумал он держаться в этом случае, — за этой односторонней теорией *laissez faire, laissez passer*, безусловно отдающей человека на жертву неразумным принципам материального производства и воспреещающей ему направлять их действие сообразно потребностям своей природы и по законам своего разума. В частности, г. Струкова наши замечания почти вовсе не касаются, они относятся только к теории, из которой слишком доверчиво взял он мнения об отношениях общинного пользования к успехам сельского хозяйства; если в чем можно упрекнуть его, то разве в этой излишней доверчивости к мнениям, которые провозглашены многими авторитетами политической экономии. Эти мнения общи всей старой школе экономистов, и мы хотим предполагать, что эта излишняя доверчивость была делом случайным со стороны г. Струкова, и источником ее было только то, что он не имел случая вникнуть в основания системы, которой держится старая школа.

Но есть у нас много людей, которые сознательно держатся оснований этой системы и девиз ее: *laissez faire, laissez passer* считают верховною, непреложною истиною экономической науки. Наш «Экономический указатель» объявляет себя приверженцем этой школы. Не все статьи журнала написаны в ее исключительном духе, — о, далеко не все, — но общее направление журнала таково. Обыкновенно, последователи системы *laissez faire, laissez passer* бывают противниками общинного начала. Мы желали бы знать, что думает о нем «Экономический указатель», и потому просим его или признать справедливыми или опровергнуть научным образом следующие положения, составляющие сущность вышеизложенных замечаний:

1) Принцип общинного пользования землею сам по себе не может быть признан несовместным с успехами сельского хозяйства.

2) Напротив, по достижении государством известной степени экономического развития, определяемой сильным развитием торговли и устройством улучшенных путей сообщения (пароходства и железных дорог), общинное пользование землею представляется единственным средством избавить огромное большинство земледельческого населения от бедствий, соединенных с батрачеством и нищетою, необходимым следствием батрачества.

3) Англия и Франция вступили уже в этот период.

[4] Россия скоро вступит в него].

[5)] Даже и в предшествующее время, когда при слабом развитии торговли и путей сообщения действия закона безграничной конкуренции не были бы еще так ощутительны, мнимые неудобства общинного пользования землею для усиления производства далеко превышаются выгодными следствиями общинного

пользования для благосостояния массы земледельческого населения.

[6)] Потому и в настоящее время благо государства, тождественное с благом большинства земледельческого населения, требует сохранения общинного пользования землею.

[7)] Все возражения против общинного пользования землею не касаются его принципа, а относятся только к одному из способов этого пользования (ежегодному переделу земель) и легко устраняются при других способах, между прочим, при переделе на продолжительные сроки с вознаграждением, от общины, прежнего обработывателя за улучшение земли, если по переделу участок или клин участка переходит к другому члену общины.

Последнее положение в сущности является только развитием первого, и таким образом весь ряд положений представляется одною цельною системою, жизненное значение которой сосредоточивается в [шестом] положении. Мы согласны признать всю систему опровергнутою, если будет научными доказательствами опровергнуто хотя одно из составляющих ее положений.

Вопрос так важен, что «Экономический указатель», служащий теперь главным органом распространения у нас политико-экономических понятий, должен определительно высказать свое мнение. Повторять, кстати и не кстати, выходки против общинного начала, давно опровергнутые наукою, легко. Но такой метод несправедлив и не ведет ни к чему полезному. Кто хочет сказать, что принцип общинного пользования землями должен быть брошен нами как невыгодный для государственного благосостояния, тот должен серьезными научными доводами доказать, что ни при каком способе общинный принцип не может быть полезнейшим для государственного благосостояния. Кто не может доказать этого, тот не имеет научного права говорить против общинного принципа пользования землею. И потому молчание со стороны «Экономического указателя» мы должны будем принять или как выражение согласия с высказанным нами убеждением относительно общинного пользования землями, или как следствие бессилия опровергнуть научным образом это убеждение.

Читатель видит, что мы предлагаем людям, думающим не одинаково с нами об общинном принципе, или признаться в своем бессилии опровергнуть убеждение, которое, нам кажется, неоспоримо доказано наукою экономического быта, или начать прения, какие постоянно ведутся в Западной Европе. Читатель видит, что в этом прении мы уступаем все выгоды тем, которым предлагаем прение. Мы первые выставляем положения, кажущиеся нам справедливыми, и предлагаем опровергнуть их, — таким образом, мы становимся в положение оборонительное, которое вообще признается менее выгодным, нежели наступательное. Мало того: мы так убеждены в непоколебимости научной истины, нами защищаемой, что согласны признать себя побежденными не только в том

случае, когда будут опровергнуты все основания, на которых опирается она, но даже если будет опровергнуто хотя одно из этих оснований. Все возможные выгоды прения предоставляются нами противникам общинного пользования землею, — и если при таких выгодах они откажутся принять предлагаемое прение или не выдержат его, это будет очевидным для всех свидетельством безмерной слабости научных возражений против общинного начала и равно очевидным для всех свидетельством научной непоколебимости его.

Но мы забыли о славянофилах, с которых начали речь? Напротив, теперь именно и делается понятным то, почему они заслуживают симпатии от людей, умеющих ставить существенно важные вопросы жизни выше мелких несогласий в отвлеченных теориях о Востоке и Западе. Мы старались представить во всей его важности один из таких вопросов, стоящих выше мелочных или туманных пунктов разделения между славянофилами и неславянофилами. И если теперь мы скажем, что об этом вопросе славянофилы, как нам кажется, думают основательнее, нежели большая часть людей, готовых подсмеиваться над промахами и пристрастиями славянофилов, то, конечно, читатели легко объяснят себе, почему мы, несмотря на частые промахи некоторых ее последователей, — промахи, осуждаемые нами не менее, нежели кем-нибудь другим, — несмотря на все теоретические заблуждения очень многих последователей этой партии, — заблуждения, несостоятельность которых чувствительна для нас не менее, нежели для кого-нибудь другого, — все-таки продолжаем считать эту деятельность полезною для нашего общества. Возвращаясь же к вопросу, выставленному нами в пример превосходства, какое, по существенным для жизни стремлениям, славянофилы имеют над многими из тех людей, которых им угодно сливать в одну партию западников, хотя между этими людьми нет ровно ничего общего, кроме недовольства специально славянофильскими особенностями.

[Научная неоспоримость благотворного действия общинного принципа не подлежит никакому сомнению. Но этот принцип явился в науке позднее других принципов, сила которых должна для человеческого благоденствия подчиниться его закону или ограничиться его требованиями. Прежде эти принципы считались безусловными основаниями науки. Торжество нового принципа в науке бывает всегда медленно; большинство ученых людей, как и всяких других людей, живет только рутинною. Уж по одному этому, не упоминая о других, своекорыстных побуждениях, имеющих влияние на многих, большинство западных экономистов и их русских учеников стоят до сих пор во враждебном отношении к принципу общинности, ограничивающему научное значение тех прежних принципов, которые до появления нового начала считались верховными началами науки, особенно принципов безгра-

ничной конкуренции и полновластной собственности отдельного лица.]

Важность распространения здравых понятий о вопросе, касательно необходимости для национального благосостояния сохранить господствующее у нас общинное пользование землею, чрезвычайно велика. Но пример западного населения, бедствующего от утраты этого принципа, не имеет над большинством наших экономистов такой силы, как лишенные всяких дельных оснований изречения тех политико-экономических авторитетов, которых они привыкли держаться. Славянофилы в этом случае не таковы. Они знают смысл урока, представляемого нам участием английских и французских земледельцев, и хотят, чтобы мы воспользовались этим уроком. Они считают общинное пользование землями, существующее ныне, важнейшим залогом, необходимейшим условием благоденствия земледельческого класса. В этом случае они высоко стояли над многими из так называемых западников, которые почерпают свои убеждения в устарелых системах, принадлежащих по духу своему минувшему периоду одностороннего увлечения частными правами отдельной личности и которые необдуманно готовы восставать против нашего драгоценного обычая как несовместного с требованиями этих систем, несостоятельность которых уже обнаружена наукою и опытом западноевропейских народов. Все теоретические заблуждения, все фантастические увлечения славянофилов с избытком вознаграждаются уже одним убеждением их, что общинное устройство наших сел должно остаться неприкосновенным при всех переменах в экономических отношениях.

Мы представили один пример превосходства славянофилов над многими из так называемых западников. Число этих примеров легко было бы умножить еще тремя-четырьмя очень важными. Но довольно и одного, по нашему мнению, важнейшего, который указали мы, чтобы с уважением смотреть на них, как на деятелей полезных.

Читатели, зная наш образ мыслей, не могут, конечно, предполагать в нас особенного расположения к тем примесям славянофильской системы, которые находятся в противоречии и с идеями, выработанными современною наукою, и с характером нашего племени. Но мы повторяем, что выше этих заблуждений есть в славянофильстве элементы здоровые, верные, заслуживающие сочувствия. И если уже должно делать выбор, то лучше славянофильство, нежели та умственная дремота, то отрицание современных убеждений, которое часто прикрывается эгидою верности западной цивилизации, причем под западною цивилизациею понимаются чаще всего системы, уже отвергнутые западною наукою, и факты, наиболее прискорбные в западной действительности, [например, порабощение труда капиталу, развитие искусственных потребностей, удовлетворяемых роскошью, и т. д.] — не говорю уж о за-

менении общинной поземельной собственности полновластною, личною.

Говоря о славянофилах, необходимо вспомнить, что в Москве явилась новая еженедельная газета «Молва», которая, как с первого взгляда видно, действительно есть орган славянофилов или, по крайней мере, некоторой части их. Мы прочли до сих пор три номера этой газеты и желаем, чтобы следующие были лучше, чего и хотим надеяться. Больше сказать о «Молве» пока нечего; разве, как одно из необходимых условий улучшения, заметить ей, что защищать дела, безвозвратно проигранные, бесполезно, а если проигранное дело было притом еще дурно, то защищать его не только бесполезно, но и вредно для собственной доброй славы. Дело г. В. Григорьева², написавшего дурные статьи о покойном Грановском, было дурно; г. В. Григорьев был недавно наказан за то в № 6-м «Русского вестника». Наказание это жестоко, но совершенно справедливо. Защитить г. Григорьева никаким образом нельзя. А «Молва» пробует защищать его. Это совершенно напрасное самопожертвование. Но что же делать славянофилам после жестокого урока, данного им за г. В. Григорьева? Остерегаться впредь помещения статей, заслуживающих такие жестокие уроки. «Надобно быть осторожнее в выборе друзей» — кроме этой мудрой сентенции, славянофилы не могут ничего извлечь из дела о г. В. Григорьеве. Мы опасаемся, что защищение дела г. Н. Крылова³ столь же напрасно.

< ИЗ № 6 «СОВРЕМЕННОГО» >

Май 1857

<О новом направлении в полемике. — Полемика между «Русским вестником» и «Молвою».>

С того времени, как вновь оживилась русская литература, интерес споров, возбуждавшихся в ней, заключался преимущественно в идеях, о которых различными партиями высказывались различные мнения. Вопросы о вреде, который приносит государственному организму взяточничество, и средствах к искоренению этого дурного обычая, о преимуществах низкого тарифа над высоким, о направлении железных дорог, о выгодах, каких можно ожидать от них, о различных преобразованиях в нашем сельскохозяйственном быте и множество других подобных тому вопросов, — все они имели интерес, совершенно независимый от вопроса о личном достоинстве людей, которыми велись эти споры. Кому, например, была какая-нибудь надобность знать степень учености г. Бланка, кому было любопытно узнать, по каким именно побуждениям написал он статейку, подавшую повод к блистательным возражениям гг. Безобразова и Чичерина, обратившим на себя общее внимание? Личностью г. Бланка¹ не инте-

ресовался ровно никто из читателей. Все были заняты единственно идеями, о которых шел спор. Даже в спорах «Русского вестника» с «Русскою беседою» о народном воззрении, о достоинствах и недостатках старинного русского быта дело шло о научной достоверности того или другого воззрения, а не о качествах людей, защищавших то или другое мнение. Если тот или другой из людей, защищавших известное мнение, подвергался порицанию от своих противников, то единственно за неосновательность мнений или нелогичность тех выводов, которых он держался вместе с своею партией, но не за личные свои недостатки. Если кому-нибудь случалось делать ошибку, принадлежащую лично ему, но не всей той партии, представителем или защитником которой он являлся, то эта ошибка легко забывалась, как неважная для сущности дела. Это понятно. Дело шло об основательности мнений целой партии, а не о достоинствах или недостатках отдельных лиц.

С некоторого времени обнаружилось иное направление в нашей полемике: ведутся споры о том, каковы права на ученый авторитет у г. В. Григорьева (в статье г. Павлова и следовавших за нею), у г. Н. Крылова (в письмах Байбороды и следовавших за ними статьях), у г. Лебедева (в письмах Военного Байбороды)². В последние полтора или два месяца именно эти споры об авторитетах отдельных лиц наиболее занимали публику, по крайней мере здесь и в Москве. (Впечатления, произведенного этим новым родом полемики на читателей в провинциях, мы еще не знаем определительно. Но есть вероятность предполагать, что провинции менее столиц заинтересованы этими новыми спорами и, признавая литературное достоинство в письмах Байбороды, Чельшевского и Ярослава, не находят особенно любопытным их содержание, хотя и считают его справедливым.) Такое внимание, обращенное на полемику, имеющую предметом лица, а не идеи, некоторым из здешних читателей не совсем нравилось. Мы имели случай встречаться с людьми, вполне достойными уважения, которые, признавая, например (как и требует справедливость), что в спорах «Русского вестника» с гг. Григорьевым и Крыловым и их партизанами не только литературное и ученое превосходство, но и вся правда дела находится на стороне «Русского вестника», не совсем довольны, однакож, были тем, что споры эти приняты довольно широкий размер, ведутся с большим одушевлением и растянулись уже на несколько книжек журнала, высоко уважаемого этими людьми, как и всеми просвещенными людьми в России. Не то чтобы дело «Русского вестника» казалось несправедливо людям, в противность своему обыкновению порицающим его в этом случае; но они жалеют о том, что подобные личные споры развлекают внимание журналистики и публики, отвлекают внимание от вопросов более серьезных, от споров более полезных по их мнению. «Какая польза доставлена обществу (говорят эти

Люди) тем, что мы узнали степень уважения, какого заслуживает ученый авторитет гг. В. Григорьева и Н. Крылова, — авторитет, о котором немногие из нас и слыживали до той поры, как немногие из нас слыживали о какой-нибудь Сапун-горе, приобретшей известность единственно благодаря тем выстрелам, которые были с успехом на нее направлены? ³ Какой из вопросов науки или жизни хотя на шаг подвинулся вперед всеми этими «Изобличительными письмами», которые, впрочем, написаны с большим талантом? Мы узнали только, что г. Н. Крылов, о котором мы прежде ровно ничего не знали, не должен быть признаваем нами за знатока римских древностей и латинского языка. Нечего сказать, — важное приобретение для нас такое новое сведение! А между тем время, потраченное на это людьми, как видно действительно учеными и талантливыми, могло быть с пользою употреблено на разъяснение какого-нибудь действительно важного вопроса науки или жизни. Жаль, что в этих случаях полемика наша по какому-то капризу уклонилась на дорогу, нимало не нужную и ни к чему, истинно полезному, не ведущую».

Такие порицания нам кажутся совершенно ошибочными. Наше мнение об этом предмете не может никем быть заподозрено в какой-нибудь пристрастности. Мы не принимали никакого участия в той полемике нового рода, о которой идет речь, и до настоящего времени не видим никаких причин, которые могли бы побудить нас принять участие в спорах «Русского вестника» с партизанами г. Н. Крылова, г. В. Григорьева и прочих. В этих спорах мы до сих пор оставались, и намерены остаться, людьми, совершенно посторонними. Стало быть, и мнение наше чуждо всяких личных отношений и основано только на сущности самого дела.

Прежде всего надобно заметить, что напрасно было бы считать новый оборот, принятый литературными спорами, делом случайности или прихоти со стороны «Русского вестника». Таков неизбежный ход дела. Начинается спор о каком-нибудь ученом вопросе. Сначала он ведется с той и другой стороны доказательствами чисто учеными; одна из ведущих спор партий скоро замечает, что доказательства ее слабы; тогда она, по необходимости, должна искать других пособий, чтобы поддержать свое дело. Ближайшим и совершенно законным средством защиты представляется ей ссылка на авторитет. Не будучи в состоянии доказать прямым образом, что наука свидетельствует в ее пользу, ослабевающая сторона старается доказывать, что вот такие-то и такие-то великие ученые свидетельствуют в ее пользу. Этот оборот, сказали мы, совершенно законен. Ничто не может быть естественнее и справедливее желания подтвердить свое мнение мнениями ученых. Спрашивается теперь: может ли другая партия отказаться от необходимости следовать за своими противниками на этот новый путь? Никак не может, если б и хотела того. Честь

и совесть обязывают ее продолжать прения на новых основаниях, выставленных противниками. Наука не существует в отвлеченности. Она выражается в произведениях людей, признаваемых ее представителями. Истина в науке в данное время есть то, что признается за истину передовыми людьми этой науки в данное время. Огромное большинство публики, для пользы которого всегда должна существовать литература, состоит не из специалистов, гордящихся самостоятельностью своих воззрений, а из людей, которые скромно говорят: «более, нежели собственному суду, мы доверяем мнениям великих ученых об этом предмете». Итак, в какое положение ставит своих противников партия, начинающая ссылаться на авторитеты? Она говорит публике: «Наши противники искажают науку, заставляя ее говорить в свою пользу. Наука говорит в нашу пользу, потому что вот такие-то и такие-то великие ученые говорят то же самое, что и мы». Если бы эти слова были оставлены без возражений, дело было бы проиграно во мнении публики теми людьми, которые теперь обвиняются в противоречии с авторитетами науки. Большинство публики, не доверяя собственному суждению, положило бы на мнение людей, выставляемых ему как авторитеты науки, и согласилось бы с мнением партии, сославшейся на эти авторитеты. Между тем, противная партия убеждена, что это мнение есть заблуждение. Итак, она считала бы себя отступницею от дела истины, если бы не подвергла критике перед глазами публики тех оснований, по которым ее противники заставляют верить себе публику. Итак, выставленные авторитеты должны быть подвергнуты критике, — и вот, по необходимости, начинается спор о том, действительно ли такой-то ученый, выставляемый представителем науки, есть великий ученый и действительно ли он должен считаться представителем науки? Вы видите, что от общих вопросов об идеях спор перешел к вопросу об ученых заслугах такого-то или такого-то человека. Вы видите, что это не могло быть иначе. Каждый шаг, делаемый прением, необходим и совершенно законен. Кто говорит: «Пусть ведутся споры об ученых предметах, но не переходят в споры об ученых качествах отдельных лиц», тот говорит: «Я не хочу, чтобы люди, ведущие ученый спор, пользовались совершенно законными и необходимыми средствами для защиты того мнения, которое кажется им истинною. Я хочу, чтобы люди, желающие защищать истину, соглашались безответно видеть торжество заблуждения. Я хочу, чтобы всякая ревность к защите истины служила только для торжества заблуждений». По нашему мнению, такой человек поступил бы лучше, если бы откровенно сказал: «Я не хочу, чтобы была защищаема истина. Я хочу, чтобы ум публики дремал, чтобы ученые молчали». Такие слова были бы, по крайней мере, искренни. В искренности есть что-то благородное и привлекательное. Признаемся, желание, столь откровенно выраженное, показалось бы нам обольсти-

тельно по своей прямоте, и мы были бы расположены даже сочувствовать ему, если бы успели убедиться в том, что оно удобно исполнимо. В самом деле, какая приятная перспектива открывается этим желанием! Публика не тревожится никакими мыслями, безмятежно наслаждается своим житейским, семейным и общественным счастьем. Солнце так кротко и ясно светит на поля и города. Деревья зеленеют, и под каждым деревом мирно сидит доброе и счастливое семейство, ведя приятный и мирный разговор о том, как хороша погода, о том, каков будет ныне урожай хлебов, и тому подобных приятных и безобидных предметах. Мы любители всяких идиллий. Необходимым условием каждой идиллии предполагается то, чтобы не было ни журнальной полемики, ни толков о журналах или книгах, ни даже мысли о них. О, как были бы мы счастливы, если бы могли обратиться в Меналков и Тирсисов! ⁴ Мы играли бы на свирелях, мы пасли бы наших овец, и мы сами были бы похожи на кротких овец. Усладительная, обольстительная картина! Не только журнальной полемикой, всеми журналами можно бы пожертвовать, если бы такой ценой возможно было купить подобное счастье.

К сожалению, нельзя его купить принесением в жертву не только журнальной полемики или журналов, не только всех ученых и литераторов, но даже и всех грамотных людей. Люди, преданные литературе и науке, слишком преувеличивают силу науки и литературы над народным сознанием. Ученые и литераторы вовсе не имеют такой власти над развитием общества, чтобы слова их могли разбудить его, если оно спит, чтобы молчание их могло усыпить его, если оно проснулось. Не книгами, не журналами, не газетами пробуждается дух нации, — он пробуждается событиями. Не шумные толки французских журналов погубили Наполеона, — при нем и не было никаких толков. Его погубил поход 1812 года. Не русские журналы пробудили к новой жизни русскую нацию, — ее пробудили славные опасности 1812 года. О, если бы на земле был человек, который мог бы управлять по произволу ходом исторических событий, тогда, быть может, могла бы осуществиться наша идиллия о Тирсисах и Меналках! Но этот человек должен был бы властвовать, по крайней мере, над всею Европою и Америкою; да и того мало: если бы оставался хотя где-нибудь клочок земли, не подвластный ему, на этом клочке могли бы возникнуть столкновения, которые повели бы к результатам и непредвиденным, и неотвратимым. Думал ли лорд Пальмерстон, столь гордо повелевавший морями, что какой-нибудь ничтожный мандарин Их, который не может выслать на море эскадры, способной противиться хотя четверть часа, хотя одному слабейшему всех тех бесчисленных кораблей, какими повелевает Пальмерстон, — думал ли, говорим мы, лорд Пальмерстон, что этот ничтожный мандарин Их принудит его изменить свою политику, принудит его соглашаться на законы,

которым семьдесят лет противился Пальмерстон, принудит его кланяться своему врагу Росселю, лишит его, быть может, его сана?⁵ Конечно, Пальмерстону и во сне не снилось того, однакож так случилось. Вздумал Их обидеть каких-то англичан; вздумал Пальмерстон наказать за то Их, и не мог не наказывать его, потому что иначе осудила бы Пальмерстона вся Англия; вздумал парламент рассмотреть, какие меры принял Пальмерстон для наказания Их, и вздумал выразить, что недоволен этими мерами. Силен был Пальмерстон; не покорился он парламенту, а выпустил его и созвал новый парламент, — и успешно, повидимому, было это дело для Пальмерстона. Много усилилось в сравнении с прежним число его приверженцев в парламенте, и одобрил новый парламент меры, принятые Пальмерстоном против Их. Только того и нужно было Пальмерстону; теперь он считал себя всемогущим; но не то вышло на деле. Благоприятны были парламентские выборы для Пальмерстона, но уже чересчур благоприятны. Усилились люди, поддерживавшие его политику, но усилились до того, что перестали опасаться своих противников, перестали, следовательно, и нуждаться в Пальмерстоне и без церемонии сказали ему: «Если ты хочешь удержаться на своем месте, то слушайся нас и исполняй все наши требования; а мы требуем, между прочим, чтобы ты стал защитником парламентской реформы, улучшений в судопроизводстве, улучшений в администрации, — словом, чтобы ты защищал все то, против чего боролся ты целые семьдесят лет. До сих пор был ты властелином над Англией, а теперь будь ты нашим покорнейшим слугою; а иначе прогоним мы тебя с твоего места и посадим на это место твоего врага, а нашего друга и предводителя лорда Джона Росселя, который нам нравится гораздо более, нежели ты». А Джон Россель прибавил: «Пока вы, милорд Пальмерстон, будете служить мне верой и правдой, я, по своей снисходительности, не буду сгонять вас с вашего места; а при первом ослушании вашем принужден буду, прогнав вас, занять ваше место. Извольте же кланяться мне, как можно пониже, и исполнять мои приказания». И пришлось Пальмерстону из господина сделаться слугою. Такую шутку сыграл над ним ничтожный мандарин Их. Спрашивается теперь: много ли пользы принесло Пальмерстону то, что английская журналистика была на его стороне, и много ли вреда принесло Джону Росселю то, что английская журналистика была на стороне его врага? Спрашивается также: много ли выиграл бы лорд Пальмерстон, если бы не было в Англии ни одной газеты, пока остается на свете мандарин Их?

В последнее время, когда появилось в наших журналах несколько дельных мыслей; несколько интересных статей, появились также у нас люди, вообразившие, будто журналистика имеет какую-то чрезвычайно огромную силу, так что разве только гор не может сдвигать с места, да и то разве только уж слишком

больших, а людьми и умами их может ворочать по своему произволу. Многие простодушные люди очень обрадовались такому открытию, а иные, еще более простодушные, сильно перепугались, сильнее, нежели при известии, что 13 июля текущего года наскочит на землю какая-то комета и перевернет всю землю вверх дном⁶. «Если вся земля перевернется от кометы вверх дном, это еще ничего, — думают они: — будем как-нибудь жить и на перевернутой земле; но вот беда, если в самом деле у каждого из нас в голове все перевернется вверх дном от журналистики. Что тогда будет? Сумятица страшная. Взятчики сделаются героями честности, трусы героями, герои трусами, бараны волками, волки баранами: что тогда будет? А ведь это все может сделать журналистика. Как бы нам предотвратить такое столпотворение вавилонское?»

Добрые люди! успокойтесь. Не в силах журналистика поднять или остановить новое столпотворение вавилонское, да и первое столпотворение вавилонское не от нее произошло. Вспомните: ведь Немврод с своими товарищами не читали ни газет, ни журналов, да и читать-то вовсе не умели. Не в силах журналистика возбуждать или удерживать движение народов. Оно возбуждается или останавливается силою событий, которые не от вас с нами, добрые люди, зависят. Не всегда зависят даже, как вы видите, и от лорда Пальмерстона. Оставьте все ваши золотые мечты о чрезвычайной силе журналистики. Мечты эти столь же были бы приятны и нам, как они приятны вам; но, — увы! — мечты эти — совершенное самообольщение, предаваться которому значит гусиное перо принимать за локомотив или за один из тех кораблей, которых так много у лорда Пальмерстона.

Иные из людей, преданных интересам просвещения, науки, литературы, могут сказать, что мы очень неудовлетворительно думаем о силе литературы. Но что же делать? Истина, хотя бы и невыгодная, лучше самого приятного самообольщения. К сожалению, надобно признаться, что типографский станок не может ни деятельностью своей пробудить народный дух, ни бездействием своим усыпить его. То и другое зависит от событий. Печатный лист имеет совершенно другое значение. Он придает мирный и разумный характер мысли, пробуждаемой событиями. Он не в силах не только пробуждать ее, он не в силах даже, когда она пробудилась, сообщить ей то или другое направление, привлечь ее к тем или другим стремлениям. Все это зависит от событий, над которыми не властен не только журнальный лист или слабая рука, его писавшая, но не властны и сильнейшие люди на земле. Одна только сила принадлежит литературе: сообщать разумный и мирный характер тем стремлениям, которые и рождаются, и укрепляются, и исчезают по власти событий. Зато в этом деле помощь литературы не заменима ничем. Представим себе хотя такой пример. Вследствие справедливых требований России

западные державы соединились с нею для наложения на Турцию обязательства сравнять христианских подданных султана в правах с его мусульманскими подданными. Это справедливое требование, во что бы то ни стало, должно быть исполнено турецким правительством. Могущество трех держав, наложивших эту обязанность, ручается за неперемное ее выполнение. Надобно прибавить, что только исполнение этой обязанности может спасти Турцию от внутреннего распада и совершенной гибели по внутренним неурядицам. Но исполнение этой обязанности соединено для турецкого правительства с затруднениями очень тяжелыми. Мусульманский фанатизм и османская национальная надменность одинаково восстают при мысли о даровании турецким христианам прав, равных с правами мусульман. Читатели знают из газет, сколько страшных и гнусных сцен производится мусульманским населением при обнаружении и исполнении мер, ведущих к этой цели. Само собою разумеется, что все эти зверские сцены, производимые мусульманами, не доставят им успеха. Турция не может не исполнить договора, исполнение которого требуется тремя державами, из которых каждая в десять раз сильнее Турции. Многим обидам подвергаются и будут подвергаться турецкие христиане, но за каждую из этих обид налагается турецким правительством тяжелое мщение на преступников мусульман. Как ни упорно сопротивление с их стороны, но дело, которому они противятся, совершается и будет совершено, хотя бы тысячи христиан были побиты фанатическими османами, хотя бы десятки и сотни тысяч этих фанатиков, в наказание за свои мятежи против христиан, погибли. Таково положение страны, в которой народ не привык советоваться с печатным листом о своих мнениях и поступках. Предположим теперь, что в Турции в настоящее время существовала бы журналистика, как у нас, и турецкие мусульмане имели бы привычку читать журналы, — что было бы тогда? Люди, приписывающие печатному листу ту силу, какой он не имеет, воображающие, что он может поднимать или заглушать народные стремления, скажут, пожалуй, что литература истребила бы в турецких мусульманах их мусульманский фанатизм и их нелепую османскую национальную гордость и что османы с радостью приняли бы издаваемые теперь их правительством законы о веротерпимости и уравнинии христиан в правах с ними, османами?

Мы уже сказали, что вовсе не разделяем подобных мечтаний, кажущихся нам грустными или забавными, смотря по тому, пагубны или только смешны бывают последствия ошибок, в которые вовлекаются люди этими мечтаниями, но во всяком случае кажущихся нам одинаково нелепыми. Нет, ни фанатизма мусульманского, ни нелепых мусульманских предрассудков не истребила бы турецкая журналистика. Народные привычки изменяются только событиями народной жизни. Турецкие журналы, защи-

щающие веротерпимость и уважение к национальностям, стали бы читаться только теми немногими из османов, которые и без того уже расположены к веротерпимости и уважению национальностей. Все остальное бесчисленное османское население читало бы журналы согласные с его убеждениями, то есть журналы, проникнутые духом мусульманского фанатизма и османской исключительной национальности. Но дело в том, что каждый из фанатиков османской журналистики был бы знаком с содержанием Парижского трактата, имел бы некоторое понятие о силах России, Англии и Франции и потому видел бы неизбежность того дела, которое ненавистно его сердцу. Потому, при всем своем фанатизме, он убеждал бы своих читателей согласиться, что султан действует не по капризу, давая права христианам, что сопротивление воле султана совершенно напрасно, потому что воля эта никак не может измениться, что сопротивление законам султана, по необходимости, навлечет погибель на сопротивляющихся, и что потому благоразумие требует покорности пред силою неизбежной необходимости. Для всякого очевидно, что этими советами со стороны турецкой журналистики значительно, чрезвычайно значительно облегчилось бы дело, предпринятое теперь турецким правительством. По всей вероятности, не произошло бы тогда и сотой части тех мятежей, какие ныне совершенно бесполезно волнуют османское население, сохранилась бы жизнь сотням несчастных христиан, убиваемых ныне мусульманами, и десяткам тысяч мусульман, казнимых ныне за эти убийства.

Стремления человека и потребности человека существуют независимо от литературы. Ни возбудить, ни усыпить, ни усилить, ни ослабить их она не может. Не может она поставить человеку новых целей, к которым бы не стремился он и без нее. Над всем этим бессильна ее власть, над всем этим исключительно властвует сила событий, одинаково действующих на молчаливого и разговорчивого, на читающего и не читающего журналы. Но внести в эти независимые от литературы стремления осмотрительность и благоразумие — это сделать может только литература. Только привычка советоваться с печатным листом может предохранить общество от опрометчивости. Итак, весь вопрос состоит в том, что лучше, опрометчивость или рассудительность при одном и том же стремлении? При одинаковости событий не может быть произведено никакого различия в силе или направлении мыслей общества тем обстоятельством, будет или не будет иметь оно литературу. От этого обстоятельства зависит только то, опрометчива или благоразумна, тревожна или спокойна будет эта мысль.

Все это было сказано нами для того, чтобы объяснить, каким образом надобно смотреть на вопрос о журналистике и журнальной полемике. Кто дорожит спокойствием, благоразумием в мыслях общества, только тот должен желать успехов литературе; все

другие надежды на нее, все другие опасения от нее совершенно неосновательны. Если вы желаете сохранения в обществе прежних обычаев, не бойтесь литературы, — она не внесет в общество никаких желаний, которых бы и без нее не было в обществе. Если вы желаете возбудить в обществе какие-нибудь новые стремления или изменить прежние обычаи, не надейтесь на литературу, — она ни на волос не поможет вам в этом деле. Все фразы о том, что литература служит распространительницею новых стремлений в обществе, фразы столь отрадные, столь громкие — все эти фразы, к сожалению, пустая мечта.

Многие из наших собратьев готовы будут упрекнуть нас за неверие в литературу ради этих последних слов, высказываемых нами не без горького сожаления о бессилии печатного листа над направлением общественных стремлений и высказываемых только по глубокому убеждению в несомненности этой прискорбной правды. Да, к сожалению, литература бессильна возбуждать, ослаблять или изменять народные стремления. Посмотрите на Англию. Со времен Мильтона все великие поэты и мыслители, которыми так богата была Англия, говорили в пользу веротерпимости; а давно ли было в Англии гонение со стороны всего общества против католиков? Давно ли кардинал Уайзмэн должен был искать за границею спасения от ненависти английской нации за то, что он католический архиепископ? Двести лет постоянных усилий со стороны журналистики и литературы, могущественнейшей в мире, — и в результате этих усилий — преследование всею английскою нациею католического архиепископа! Хотите ли другой пример? С той поры, как Шекспир высочайшею в мире похвалою могущественнейшему и лучшему из людей признал слова: «человек был он», вся литература Англии неумолкаемо твердила о неприкосновенных правах, врожденных человеку; и однако же до сих пор во всей силе сохраняется в Англии бесчеловечный обычай, по которому, в противность родительской любви, в противность братской любви, все дети приносятся в жертву старшему сыну. Из человеческих прав, какое может быть священнее, нежели право детей на равенство перед отцом, право отца равно желать добра всем своим детям? Оно не признается обычаем Англии ни относительно дочерей, ни относительно всех младших сыновей. Двести пятьдесят лет неумолкаемой проповеди о достоинстве человека, и в результате — ничтожество человека сравнительно с преимуществом старшего сына!

Говорите после этого о силе литературы над народными стремлениями, — ваши слова будут прекрасны, возвышенны, но, к сожалению, они — пустые слова. Не дает литература народу новых стремлений; бессильна она в этом деле, над которым владычествует могущество событий.

Но как бессильна литература в том деле, относительно которого существует различие партий и интересов, которого желают

одни, которому противятся другие, в деле изменения народных обычаев и стремлений, точно так же сильно и незаменимо ничем ее влияние в том деле, относительно которого никогда не бывает разноречия между благоразумными и благонамеренными людьми, — в деле сообщения национальному характеру и национальным стремлениям хода благоразумного и осмотрительного. Потому вопрос о литературе не есть дело партий; подобно вопросу о национальной чести, о национальном могуществе, о национальном благосостоянии, это дело патриотизма вообще. Можно спорить о том, какие именно стремления в данное время наиболее полезны для нации, какие из потребностей ее требуют удовлетворения и какими способами могут быть удовлетворены они. Но невозможно для каждого благоразумного человека, каковы бы ни были его мнения об этих частных вопросах, не соглашаться со всеми остальными благоразумными людьми в желании успехов литературе — это значило бы сомневаться в необходимости благоразумия и осмотрительности. Невозможно ему, каковы бы ни были остальные его цели, не помогать всем другим благоразумным людям во всяческом содействии развитию литературы, — поступать иначе мог бы только безумец, желающий преобладания безрассудства и опрометчивости в национальном характере. Степень благоразумия в нации соразмеряется с степенью развития литературы, потому что совершенно и исключительно зависит от нее.

Надобно ли теперь говорить о том, в чем состоит необходимая и неизбежная сущность всякой литературы? В том, что она служит выразительницею различных мыслей о тех вопросах, которые и без нее уже сильно занимают нацию и которые различными людьми разрешаются различно. Это понятие о литературе так просто и так необходимо принимается каждым хотя сколько-нибудь знакомым хотя с какими-нибудь литературными явлениями, что, казалось бы, не нужно и говорить о нем. Но те замечания, изложением которых началась наша статья, замечания, слышанные нами от людей, совершенно благонамеренных и искренних, доказывают, к сожалению, что не всем еще благонамеренным людям, рассуждающим у нас о литературе, знакомо само понятие литературы. Остановимся же на нем и разъясним необходимость каждого его термина.

«Вопросы, о которых рассуждает литература, и без литературы уже сильно занимают национальное сознание». Если б они еще не занимали нацию в то время, когда литература только еще начинает говорить о них, то в таком случае ни у кого не было бы охоты читать эти рассуждения, и литература исчезла бы от равнодушия и пренебрежения публики. Кому охота слушать о том, что его не интересовало уже в то время, когда начинался рассказ? С первых же слов поняв, что дело идет о предмете, для него не интересном, он отвернулся бы и ушел.

«Вопросы эти занимают нацию не потому, что литература говорит о них, напротив, литература говорит о них только потому, что они без нее и прежде нее уже занимали народную мысль». Таково отношение всяких бесед: изустных, письменных и печатных к предметам их. Не потому собеседники заняты предметом, что беседуют о нем, напротив, беседуют о нем только потому, что уже заняты им. Думать иначе может только идиот, над тупоумием которого обязан от души посмеяться или от души пожалеть каждый человек, в котором есть хотя искра здравого смысла. Предположим, я вхожу в общество и слышу, что беседа идет о псовой охоте. Я должен понять, если я не совершенный идиот, что собеседники — люди очень любящие псовую охоту, что каждый из них или имеет, или желает иметь стаю гончих, что каждый из них много раз побывал уже и много раз желал побывать в отъезжем поле, преследуя несчастных зайцев. Если же я предположу, что собеседники до начала своей беседы не имели ни понятия о псовой охоте, ни расположения к ней, то я окажусь человеком, совершенно лишенным здравого смысла, человеком, в котором рассудка меньше, нежели в самом трусливом и глупом зайце. Идем далее и предполагаем, что я узнаю о существовании периодического издания, называющегося «Журнал коннозаводства и охоты». Попрежнему, если есть во мне хотя искра здравого смысла, я должен понять, что люди, начинающие читать этот журнал, уже прежде, нежели начнут его читать, сильно заняты мыслями о коннозаводстве и охоте.

«Литература рассуждает, из предметов, сильно занимающих общественную мысль, только о таких предметах, о которых уже существуют и без литературы различные мнения». Общее и необходимое качество всяких бесед: печатных, письменных или изустных состоит в том, что они ведутся о таких вопросах, относительно которых существуют между собеседниками различные мнения. Возьмем опять прежний наш пример. Рассуждают ли охотники между собою о том, что у каждой лошади и у каждого зайца бывает по четыре ноги? В этих вопросах все согласны, и потому говорить о них есть признак идиотства. Всякая беседа необходимо имеет своим источником желание разъяснить предмет. Если предмет ясен для всех собеседников до начала беседы, то начинать беседу или слушать ее есть оскорбление для человеческого разума. Таких бесед никогда никто не начинает и не слушает; они противны человеческой натуре, и если бы когда-нибудь кто-нибудь вздумал беседовать или слушать беседу о предмете, для всех совершенно ясном, то был бы наказан за такое оскорбление законов человеческой природы невыносимою скукою и получил бы неотъемлемое право носить имя идиота.

Опасаясь подвергнуться такой горькой и обидной участи, мы никак не отважились бы вести беседу о таком, повидимому, ясном и простом предмете, как понятие о неизбежных качествах лите-

ратуры, если бы те порицания, о которых упомянули мы в начале статьи, не давали нам прискорбного основания предполагать совершенное незнакомство порицателей с первыми понятиями о предмете, о котором они судят так ошибочно, хотя, мы уверены, и благонамеренно. Мало того, что желаешь добра, нужно также хотя несколько знать сущность того дела, о котором принимаешься судить.

Теперь, мы надеемся, довольно легко будет каждому из людей, порицавших «Русский вестник» за полемический тон некоторых статей его⁸, рассудить, до какой степени справедливо было это порицание? Сущность литературы, как мы видели, заключается в изложении различных мыслей о предметах, относительно которых уже существует разноречие в обществе. Отвергать это значит быть идиотом. Если же мы допустим, что в литературе не только могут, но и по необходимости должны выражаться различные мнения об одном и том же вопросе, то уже мы допустили тем самым необходимость всех тех статей «Русского вестника», о полемическом характере которых завели мы речь. Как скоро излагаются об одном и том же вопросе различные мнения, то само собою разумеется, что эти мнения различны, и вот мы уже имеем полемику. Сказать: «вы можете держаться различных мнений и можете излагать их, но эти различные мнения не должны противоречить одно другому», — сказать такую вопиющую несообразность было бы посрамлением рассудку и здравому смыслу. Точно так же, сказать: «мы допускаем полемику, но не хотим, чтобы в эту полемику были замешаны люди; мы допускаем, чтобы был спор, но не хотим того, чтобы были люди, спорящие друг против друга», значило бы сказать нелепость, точно так же унижительную для здравого смысла. Кому не нравится литературный спор одних людей против других, тот может найти только один способ выражения, не унижительный для его собственного рассудка. Он должен откровенно сказать: «мне не нравится, что существует литература». Выше мы уже признались, что прямота и откровенность этой мысли очаровывает нас; но, к величайшему нашему прискорбию, должны были признаться, что эта идилическая мысль неудобноисполнима, как неудобноисполнимо многое прекрасное на земле. Не будем утопистами, мечтателями и прежде, нежели обольстимся какою-нибудь прекрасною мыслью, подумаем хорошенько о том, допускается ли исполнение ее силой событий, ни возратить, ни изменить которых не властен человек. Покоримся горькой необходимости, признаем в наших согражданах совершенную неспособность быть аркадскими пастушками в таком веке, когда уже и потомки аркадских пастушков не могут жить без литературы.

Довольно рассуждали мы о первом из оснований, выставляемых людьми, порицающими «Русский вестник» за его полемические статьи. Мы убедились, что в наш век литература, к сожален-

нию, необходима. Убедившись в этой прискорбной истине, мы уже легко и без всякого огорчения должны были признаться, что как скоро существует литература, то необходимы и неизбежны в ней споры людей друг против друга. Мы убедились, что статьи, подобные тем, по случаю которых завели мы речь о «Русском вестнике», являются в литературе не вследствие человеческого произвола, а вследствие неизбежной необходимости, и что потому осуждать «Русский вестник» за помещение таких статей так же несправедливо и нелепо, как осуждать его за то, что он печатается на типографском станке, за то, что книжки его сшиваются переплетчиком и имеют обертку и т. д., и т. д. Все эти вещи нисколько не зависят от чьего бы то ни было произвола, и быть иначе не может. Теперь рассмотрим вторую мысль, находимую нами в тех порицаниях, которые приведены в начале статьи, — мысль о бесполезности полемики, относящейся не к идеям, а к лицам. «Положим, говорили нам порицатели «Русского вестника», что «Русский вестник» не мог избежать этой полемики, положим, что она необходима и совершенно законна; но все-таки надобно согласиться, что она бесполезна». Нет; не только надобно согласиться, что она справедлива, необходимость и очевидность не позволяют усомниться также и в том, что такого рода полемика по-настоящему полезна. Мы уже должны были признать, что литература не только необходима, но и полезна. Одно из условий существования литературы есть существование такой полемики, которая относится к лицам; здравый рассудок говорит, что вещи, необходимые для существования какого-нибудь полезного дела, должны быть признаваемы полезными. Поясним эту мысль примером. Хлебопашество есть дело полезное. Хлебопашество не может существовать без кузниц. Лично вам или мне кузница может казаться вещью неприятною или даже дурною. Нам может не нравиться то, что на кузнице очень много стуку, очень много дыму и что вообще кузница — вещь довольно беспокойная и черная. Если мы будем рассуждать, как аркадские пастухи, мы можем даже сочинить идиллию, в которой беспокойную кузницу противопоставим мирному хлебопашеству, и будем говорить своим согражданам, например, следующую речь: «О милые сограждане! занимайтесь хлебопашеством, делом мирным и спокойным, и уничтожьте ненавистные каждому мирному гражданину, оскорбляющие слух его, оскорбляющие глаз его, шумные и черные кузницы». Речь наша будет чрезвычайно трогательна и благонамеренна; но, к сожалению, она будет очень наивна и тупоумна. Наши сограждане — хлебопашцы, люди мирные и нелюбящие шуму, будут отвечать нам: «О добродушный Менаж! вы забываете, что в кузницах приготавливаются необходимые орудия хлебопашества. Если бы мы, по вашему совету, уничтожили кузницы, мы остались бы без плугов и сох, без телег и упряжки и не могли бы распахать ни одной десятины наших полей и умерли

бы с голода. К сожалению, любезный Меналк, кузницы для нас совершенно необходимы. Эти закопченные дымом, наполненные стуком здания приносят нам неоцененную пользу. О любезный Меналк! ваша идиллия свидетельствует о чрезвычайном благородстве души вашей, но, к сожалению, вы совершенно не понимаете дела, о котором судите».

Но мало сказать того, что статьи, подобные полемическим статьям «Русского вестника», неизбежны в литературе и полезны, как одна из необходимых принадлежностей литературы, которая не имеет таких статей только тогда, когда доведена до совершенного изнеможения. Само по себе, независимо от своей неизбежности в литературе, полемика о лицах почтенна и полезна потому, что имеет своею целью разъяснение истины. Для человека, желающего знать истину, важен вопрос не только о том, что говорится, но и вопрос о том, кем говорится. Истины и вообще мысли, отвлеченной от людей, нет. Мысль неразлучно связана с человеком, и качества мысли неразлучно связаны с его качествами. Кто не хочет знать людей, тот не хочет знать истины, тот не хочет мыслить. Было бы нелепо сказать: «Мне нравится, когда говорят о коперниковой системе, но не нравится, когда говорят о Копернике. Я желаю, чтобы вы изложили свое мнение о системе иезуитов, но я не хочу, чтобы при этом вы касались Игнатия Лойолы, основателя иезуитской системы. Вы можете говорить о политической экономии, но я не желаю, чтобы вы рассматривали степень учености и добросовестности Адама Смита, основателя политической экономии». Вопрос о мыслях не может быть прояснен без разъяснения вопроса о людях, излагающих эти мысли. Знание людей составляет одну из важных сторон истины. Утверждать противное может только человек, не имеющий понятия ни о качествах истины, ни о том, что истину нельзя делить и обрезать по произволу. Кому неприятна какая-нибудь сторона истины, тот пусть не унижает своего рассудка нелепым разделом истины на полезную и бесполезную. Пусть он прямо скажет, что истина вся без исключения кажется ему бесполезна или вредна. Читатель ожидает, быть может, что мы прибавим: отвергать пользу истины не решится никто. Нет, мы не скажем этого. Кому угодно, почему же и не отвергать тому пользу истины? Кому истина кажется вредною, почему ж не может тот и сказать, что истина кажется ему вредною? Мы так умеренны, что не требуем даже и уважения к истине от тех людей, которые не захотели бы уважать ее; мы требуем от них только здравого смысла. Пусть, кому угодно, отвергает истину; пусть только сообразит он, к чему приведет его такое желание? Оно приводит к требованию идиотства. Каким путем? Очень простым и коротким.

Натура мысли состоит в том, чтобы стремиться к истине. При ограниченности человеческих сил мысль не всегда достигает

этой цели, останавливается иногда на односторонностях, но всегда стремится она к истине. Кто хочет отнять у мысли это стремление, тот хочет убить ее деятельность. Человек, в котором убита деятельность мысли, может сделаться хитрецом, плутом, но во всяком случае остается тупоумным. Хитрость, к сожалению, никак не может заменить собою ума. Часто встречаются хитрецы не только между идиотами, даже между сумасшедшими. Некоторые породы четвероногих животных также отличаются значительной степенью хитрости. Если бы они могли заменить собою человека, обладающего рассудком, очень легко бы обойтись без людей с рассудком, который укрепляется только деятельностью мысли, иначе сказать, только стремлением к истине. Тогда легко можно было бы и отрицать необходимость истины. Но, к сожалению, лица точно так же неспособны к отпавлению человеческих дел, как и осел, хотя она гораздо хитрее осла. К сожалению, хитрый идиот точно так же неспособен к рассудительным поступкам, как и просто добродушный идиот. Потому горькая необходимость принуждает сказать, что рассудок в человеке необходим для существования гражданского общества, которое очень быстро разрушается, как скоро в нации ослабевает сила рассудка. Быть противником рассудка, иначе сказать, желать ослабить деятельность мысли, иначе сказать, мешать ее стремлению к истине, — стремлению, без которого нет деятельности мысли, нет и рассудка, может только человек, или сам не понимающий, чего он желает, или желающий разрушения гражданского общества и превращения своей страны в землю тропиков-пигмеев, которых били не только люди, но и журавли.

Но довольно о том, можно ли отделять вопрос о мыслях от вопроса о людях и полезны ли споры между людьми. Остается нам рассмотреть третье и последнее из тех оснований, которые выставляются людьми, порицающими оборот, принятый в последнее время полемикой «Русского вестника» и его противников. Нам говорят: «полемика, относящаяся к лицам, заслуживает порицания потому, что отвлекает внимание публики и литераторов от вопросов об идеях, — вопросов, гораздо важнейших». Это возражение, по всей справедливости, могли бы мы оставить без всякого внимания как совершенно неуместное. Каждый сам лучше других чувствует, что для него важно, и если бывают случаи, в которых основательные писатели считают делом нужным, а образованные читатели — делом для себя интересным спор о лицах, то, по всей вероятности, можем мы предположить, что не совершенно безрассудно думают в этих случаях люди, которые во всех других случаях оказываются людьми умными и основательными. У нас, к сожалению, очень сильна несчастная привычка предполагать, не разобрав хорошенько дела, что человек, который поступает не совсем так, как именно мне нравилось бы, непременно ошибается; а того не хочу я подумывать, что дело, которым

этот человек занимается, ему, быть может, знакомее, нежели мне, да и сам он, быть может, умнее, и быть может, даже и честнее меня. Не приходит обыкновенно мне в голову подумать, что прежде, нежели порицать его, я мог бы посоветоваться с ним, и, быть может, совет его не только удержал бы меня от порицания, направленного против него, — порицания, которым обнаруживается лишь мое собственное невежество, но и помот бы мне в собственных моих делах, быть может, довольно запутанных и, быть может, нуждающихся в пособии добрым советом со стороны людей умных. Все эти соображения, говорим мы, могли бы служить достаточною причиною оставить без всякого ответа тот упрек, на котором мы остановились. Но так как мы уже приняли на себя обязанность доказать порицателям нового оборота, принятого полемикою «Русского вестника» и его противников, что сомнения, ими питаемые об этом деле, возникли у них единственно от незнания дела, то скажем два-три слова о том, почему личные споры не могут отвлечь внимания от споров за идеи. Для этого довольно будет вспомнить, каким образом обыкновенно возникают споры о лицах. Они возникают, как мы сказали, и притом возникают необходимо, из споров за идеи, как дополнение споров за идеи, имеющие целью окончательно разъяснить и утвердить результаты, доставленные предшествующим спором об идеях. Служа, таким образом, только необходимым средством для достижения цели, спор о лицах прекращается сам собою, как скоро цель достигнута, и во все то время, пока продолжается, не ослабляет, а поддерживает внимание, обращенное на источник и главный предмет спора, именно на первоначальный вопрос об идеях. Обыкновенно исследование идеи принимает в это время даже особенную глубину, потому что не все же силы партии заняты бывают спором против лиц, и так как интерес к предмету спора достигает в это время особенного развития, то силы, остающиеся свободными, с удвоенною ревностью обращаются к исследованию идеи.

Так, например, в то самое время, когда одна часть сотрудников «Русского вестника» занята была спором против лиц, другая часть сотрудников этого журнала с большею ревностью, нежели когда-нибудь, занималась разъяснением основных идей, подавших повод к спору, — и результатом таких исследований явились две превосходные статьи гг. Соловьева и Забелина, — статьи, которые, по своему ученому достоинству, имеют высокую цену и независимо от своих полемических отношений. Они могут, кажется, послужить очень достаточным доказательством, что спор о лицах нимало не повредил исследованию идей, а, напротив, усилил его энергию и добросовестность.

Статья г. Соловьева «Шлецер и анти-историческое направление»⁹, рассматривая суждения некоторых славянофильских писателей о замечательнейших людях допетровской Руси, доказы-

вает, что все эти люди должны быть названы представителями того же самого направления, которое ныне славянофилы называют западническим и отрицательным, что Посошков, митрополит Макарий, Геннадий, Максим Грек, боярин Матвеев, Нащокин, митрополит Киприан и наконец те новгородцы, которые призвали Рюрика, должны быть названы людьми отрицательного направления в том самом смысле, в каком понимается отрицательность славянофилами, потому что все они или жаловались на чрезвычайную неудовлетворительность той степени развития, на которой стояла Русь в их время, или своею деятельностью обнаруживали недостатки тогдашнего быта.

Г. Забелин в статье «Женщина по понятиям старинных книжников»¹⁰ чрезвычайно основательно раскрывает понятия, которыми определялось в старинной русской жизни общественное положение человека, и доказывает, что единственным правом на уважение считалась тогда порода, перед которою совершенно ничтожны казались личные достоинства или недостатки человека. Находя повторение тех же самых понятий в семейственных отношениях, он показывает, как жалко и грубо было мнение старинной Руси о женщине и как унизительна и тяжела была судьба женщины в те времена. Старинный русский человек, под влиянием фальшивых понятий, определявших его развитие, дошел до того, что считал женщину существом по натуре своей злым, назначенным от природы быть вместилищем всех низких пороков и преступлений, считал обязанностью своею презирать от глубины души и всячески стеснять женщину. Множество интересных выписок из неизданных старинных рукописей придает новую важность прекрасной статье, которая, между прочим, знакомит нас с содержанием знаменитой старинной «Книги о злых женах». Как все превосходные исследования г. Забелина, его новая статья отличается редким у нас достоинством изложения. Нет надобности говорить, что, подобно всем другим исследованиям г. Забелина, эта новая статья останется капитальнейшим трудом по своему предмету. Новая статья г. Соловьева о Шлещере также принадлежит к числу самых удачных между его небольшими трактатами о частных вопросах русской истории. Такие важные приобретения для науки, обязанные своим возникновением полемике «Русского вестника» с славянофилами и появившиеся именно в то самое время, когда к спору об идеях присоединился и спор об лицах, должны, кажется, быть почтены совершенно убедительными доказательствами того, что спор об именах нимало не мешает исследованию идей, напротив, придает ему особенную живость и основательность.

Само собой разумеется, что все те права спора и защиты, которые мы признаем совершенно законно и несомненно принадлежащими «Русскому вестнику», точно в такой же степени мы считаем неотъемлемо принадлежащими к той партии, которая

ведет споры с «Русским вестником». Мы думаем, что как «Русский вестник» имеет полное право и находится в совершенной необходимости рассматривать степень ученых заслуг, степень познаний и степень добросовестности, какие обнаруживаются статьями г. В. Григорьева, г. Н. Крылова и проч., точно так же и точно в такой же полной мере должно быть признано и за писателями противной партии право рассматривать степень ученых заслуг, степень познаний и степень добросовестности, какие обнаруживаются статьями г. Павлова, г. Соловьева, г. Забелина и проч. Мы желали бы сказать, что партизаны г. В. Григорьева и г. Н. Крылова пользуются своим несомненным правом с таким же мастерством и такою же основательностью, как их противники; но, к сожалению, этого не только не можем сказать мы, этого не решаются сказать о партизанах гг. В. Григорьева и Н. Крылова даже те люди, которые совершенно разделяют их образ мыслей. Иметь право и иметь способность пользоваться своим правом с выгодною для себя — две вещи, совершенно различные. Все сознают, что «Русский вестник» обнаруживает в своей полемике очень замечательную основательность знаний, замечательный такт и что полемические статьи его отличаются прекрасными достоинствами мастерского изложения. В полемических статьях, написанных противниками «Русского вестника», до сих пор, к прискорбию всех, заметно было только отсутствие этих качеств. Складочное место полемических статей и заметок против «Русского вестника», «Молва» до сих пор доказала несомненную способность только к одному роду полемики, роду, более свойственному изустным беседам между праздными и малообразованными людьми; нежели литературной полемике, именно «Молва» до сих пор с похвальным усердием и замечательным талантом занималась только сплетнями, а во всем остальном была слаба. Своею бестактностью довела она себя до того, что «Русский вестник» справедливо не хочет находить в ней ничего общего с «Русскою беседою», которую признает журналом, заслуживающим уважения.

< ИЗ № 7 «СОВРЕМЕННОКА» >

Июнь 1857

<<О распространении знаний в России» Ламанского. — «L'ancien régime» Токвиля и «De l'avenir politique de l'Angleterre» Монталамбера. — «Физиология общества» Безобразова. — Об учреждении в Петербурге общества для улучшения помещений рабочего населения.>

По поводу статьи г. Ламанского «О распространении знаний в России» мы получили несколько писем от наших читателей. Все отдают полную справедливость прекрасной основной мысли г. Ламанского и выражают сочувствие к делу, необходимость и великую пользу которого он доказывает¹. В некоторых из писем

делаются, более или менее основательные, замечания о подробностях проекта, составленного г. Ламанским, который, сообразив эти мысли с замечаниями, выраженными в журналах, намерен сказать свое мнение о том, какие из предлагаемых дополнений его проекта кажутся ему действительно полезными и возможными. А между тем мы печатаем одно из присланных нам писем.

Сказав вначале, что дело, указываемое г. Ламанским, чрезвычайно важно и благотворно, автор письма продолжает:

«Г. Ламанский не коснулся тех отношений, в которые, для пользы литературы, Общество распространения знаний должно поставить себя к изданиям, предпринимаемым частными людьми, — конечно, он не говорил об этих отношениях потому только, что считал их слишком ясными. Но, вероятно, полезно было бы с самого начала определить их положительным образом.

«Если устроится Общество распространения знаний, то во всяком случае деятельность его будет гораздо обширнее, а средства его гораздо значительнее, нежели средства и деятельность частных лиц, занимающихся ныне изданием книг в том роде, какие будет издавать Общество. Если бы оно при своих действиях не обращало внимания на предприятия частных людей, то, конечно, могло бы своим соперничеством ослабить их деятельность. А частная предприимчивость по литературному делу до сих пор еще так слаба у нас, что легко повредить ей. И так как деятельность Общества не может избежать соприкосновений с частными изданиями, то и необходимо для пользы литературы, чтобы со стороны сильнейшего деятеля, каково Общество, эти соприкосновения были оживлены духом всевозможной готовности помогать и содействовать, — только в таком случае деятельностью Общества не ослабится, а усилится и ободрится частная предприимчивость и охота к труду.

«Нельзя сказать, что у нас слишком мало людей, желающих трудиться или уже трудящихся над переводами ученых или популярных иностранных сочинений, или над оригинальными сочинениями по разным отраслям науки: г. Ламанский справедливо указывает на то, что много трудов в этом роде совершается гораздо более, нежели издается: по недостатку средств к изданию у автора или по недостатку предприимчивых издателей гораздо более таких трудов бесплодно остается в рукописи, нежели появляется в печати. Из людей, трудящихся таким образом, многие бывают готовы даже без всякого вознаграждения отдать свою рукопись издателю, лишь бы только принести публике пользу своим трудом, но и на таком слишком выгодном для издателя условии часто не находят издателя. Частная предприимчивость у нас слишком робка, по недостатку уверенности в том, что распродаже издания окупятся издержки печати.

«Общество должно отвратить это препятствие, принимая на себя или обеспечение распродажи известного количества экземп-

ляров тех частных изданий, которые найдет полезными для публики, или даже услуги по издательству.

«Конечно, многие из писателей найдут удобным для себя или трудиться по поручению Общества, или прямо уступать ему свои рукописи за приличное вознаграждение. Но многие, вероятно, предпочтут сами быть издателями своих переводов или сочинений — и Общество должно оказывать им всевозможную помощь.

«Издание рукописи автором, переводчиком или книгопродавцем обыкновенно затрудняется сомнениями в том, будут ли в скором времени покрыты издержки печатания распродажею книги, — Общество должно в этом случае принимать на себя такое обеспечение. Нужно только, чтобы книга, предполагаемая к изданию, была полезна, а писатель или книгопродавец, желающий напечатать ее, внушал Обществу доверие, что удовлетворительным образом исполнит предприятие, за которое берется. Удостовериться в первом очень легко — программа книги уже достаточно обнаруживает, какой пользы можно ожидать от книги; во втором удостовериться можно также легко: имя писателя, пользующегося известностью дельного человека по тому предмету, за который он берется, и известность книгопродавца, как издателя честного и аккуратного, уже достаточно обеспечивает Общество.

«Итак, когда какой-либо писатель или переводчик, обладающий, по общему мнению публики, качествами, нужными для удовлетворительности предпринимаемого им полезного труда, объявляет Обществу, что желает предпринять такой-то труд, если Общество возьмет у него известное число экземпляров издаваемой им книги, — Общество со всею готовностью примет на себя это обязательство. В тех случаях, когда дело, по своей особенной полезности, заслуживает особенного одобрения, Общество может даже вперед выдавать заимообразно писателю или переводчику часть суммы, нужной для напечатания книги, или принимать на себя перед типографщиком обязательство в уплате этой суммы по напечатании книги.

«Может быть отношение еще более тесное. Только для людей, живущих в столицах, да и то для немногих, только уже привыкших иметь сношения с типографиями и книгопродавцами, удобно бывает печатать книгу на свой счет. Люди, живущие в провинциях, вовсе лишены удобства сами заняться изданием своих книг. Общество может принимать на себя эту обязанность.

«В том и другом случае, берет ли на себя Общество известное число экземпляров книги, издаваемой частным лицом, или берет на себя самое издание книги, автор или переводчик которой желает удержать за собою полную собственность на это издание, — в том и другом случае условия, на которых Общество оказывает содействие этому частному предприятию, должны быть

таковы, чтобы человеку, пользующемуся содействием Общества, вполне предоставлялись все те выгоды, какие может принести издание; Общество в подобных случаях имеет в виду единственно содействие развитию литературы и не ищет в них никакой денежной прибыли для себя, так что при своих расчетах не полагает даже никакого процента на затрачиваемый капитал. При покупке экземпляров оно уплачивает автору или переводчику ту самую цену, по которой должна продаваться его книга (то есть не берет так называемых книгопродавческих процентов за комиссию); при выдаче заимообразно денег на напечатание книги принимает уплату по произволу автора или деньгами без всяких процентов, или экземплярами изданной книги по продажной их цене; наконец, при напечатании книги на счет Общества, Общество полагает те самые цены, какие автор должен был бы заплатить в типографию, если бы печатал книгу не в долг, а на наличные деньги.

«Конечно, следуя такому принципу, Общество терпит некоторый убыток (отчасти на расходы по ведению того дела, в котором становится посредником, отчасти на процентах с затрачиваемого капитала); но эти убытки незначительны: они по приблизительному расчислению не могут простираться и до 5 процентов с употребленных Обществом на эти дела сумм. Такая незначительная потеря в общем движении сумм Общества покрывается выгодами, которые приносят ему собственные его издания, и в тысячу раз вознаграждается тою пользою, какую приносит это совершенно бескорыстное участие в частных предприятиях развитию литературы, ободряя и вызывая частную предприимчивость.

«Так как экземпляры принимаются Обществом по их продажной цене без всяких процентов за комиссию, то автору не приносит ни малейшего стеснения единственное условие, которое нужно для возвращения Обществу денег, выданных взаем или заплаченных в типографии, именно то условие, что экземпляры, купленные или взятые в уплату долга Обществом, первые поступают в продажу, и экземпляры, остающиеся у автора, поступают в продажу уже тогда, когда распроданы экземпляры, взятые Обществом. Это условие, принимаемое основанием всякой продажи значительного числа экземпляров при сделках между автором и частным книгопродавцем, не будет служить ни малейшим стеснением, а, напротив, будет приносить прямую выгоду автору, потому что Общество берет у него экземпляры без вычета процентов и, следовательно, платит ему дороже, нежели книгопродавцы.

«Но как велики суммы, нужные Обществу для такого содействия частным предприятиям? Публике вообще мало известны цены, которых стоит самое издание книги, и многие, быть может, воображат, что пособие изданию частных трудов потребует сли-

шком больших затрат со стороны Общества. Из следующего приблизительного расчета можно видеть, что капитал, достаточный для очень сильного содействия издательству книг частными лицами, вовсе не так значителен, как может казаться людям, незнакомым с типографскими ценами. Вот приблизительная смета расходов на издание одного тома в 25 печатных листов (400 страниц) в формате «Отечественных записок», «Русского вестника» или «Современника», по петербургским ценам, в количестве А) 1200 экземпляров, В) 2400 экземпляров и С) 9600 экземпляров.

А. Издание в 1200 экземпляров

1) Набор и печатание по 12 руб. за лист	300 руб. — коп.
2) Бумага по 3 руб. за стопу (эта бумага достоинством своим близка к бумаге, на которой печатаются журналы), всего $62\frac{1}{2}$ стопы	187 » 50 »
3) Чтение корректуры по 1 руб. за лист	25 » — »
4) Обертка для 1200 экз. около	7 » 50 »
5) Брошюровка по $2\frac{1}{2}$ коп.	30 » — »
Итого 550 руб. — коп.	

В. Издание в 2400 экземпляров

1) Набор и печатание по 16 руб. за лист	400 руб.
2) Бумага 125 стоп	375 »
3) Чтение корректуры	25 »
4) Обертка	10 »
5) Брошюровка	60 »
Итого 870 руб.	

С. Издание в 9600 экземпляров

1) Набор и печатание по 35 руб.	875 руб.
2) Бумага 500 стоп	1500 »
3) Чтение корректуры	25 »
4) Обертка	33 »
5) Брошюровка	192 »
Итого 2625 руб.	

«Московские цены несколько дешевле петербургских.

«В числе 2400 экземпляров печатаются уже только такие книги, которые, как говорится, расходятся очень сильно; издание в 9600 экземпляров делается только для учебных книг, принимаемых не только в гимназии, но и в уездные училища, или для книг вроде «Сельского чтения». Ни Гоголь, ни Пушкин не издавались в таком числе экземпляров, тем менее достигала его какая-нибудь ученая книга. Итак, предположив, что Общество издает или даст деньги на издание в течение года 50 томов по 400 страниц (или большого числа книг меньшего объема), мы должны считать, что из них раз в 13 нужно будет печатать в 2400 экземплярах и раз в 2 в 9600 экземплярах, а остальные 35 не понадобятся на первый раз издавать более, нежели в 1200 экземплярах, и общая сумма расходов будет такова:

1) 35 томов в 1200 экземпляров	19 250 руб;
2) 13 томов в 2400 экземпляров	11 310 »
3) 2 тома в 9600 экземпляров	5 250 »

Итого . . . 35 810 руб.

«Предположив, что уплата денег со стороны Общества потребуется в пропорции двух третей этой суммы и что Общество будет действовать наполовину наличными деньгами и наполовину кредитом, мы увидим, что содействовать изданию 50 томов, довольно толстых и большого формата, Общество может, употребив от 12 до 13 тысяч рублей, которые возвратятся ему в течение того же года с потерей никак не более 5%, то есть 650 руб.

«Если формат книги менее журнального (как обыкновенно бывает), расходы издания, конечно, менее.

«Но для такой операции необходимо, чтобы книги, издаваемые Обществом, имели быстрый и верный расход. Да и вообще польза, приносимая Обществом, зависит не только от количества и достоинства издаваемых им книг, но также и от быстрого и обширного их распространения в публике. Каждый, знакомый с положением нашей книжной торговли, очень хорошо знает, что в настоящее время те средства, которыми она располагает, нисколько не соответствуют обширности нашего государства и распределению по его пространству людей, читающих или желающих читать. Только столицы и очень немногие из других губернских городов имеют в настоящее время такие книжные магазины, в которых местные жители могли бы без замедления видеть и покупать вновь выходящие порядочные книги. Жители всех остальных провинций принуждены с большими издержками и с большим промедлением выписывать для себя книги из-за нескольких сот верст; потому число книг, расходящихся в провинции, далеко не соответствует числу людей, которые охотно стали бы покупать книги, если бы имели их под руками. Судя по пропорции, какая замечается между числом экземпляров журналов, получаемых в столицах, и тем числом, какое расходится по провинциям, надобно считать, что более нежели две трети людей, для которых чтение стало уже потребностью, живут в провинциях. Но пропорция книг, расходящихся по провинциям, гораздо менее, нежели две трети всего числа продаваемых книг, — конечно, потому, что для жителей провинций затруднительно знакомиться с новыми книгами и покупать их.

«Г. К. Аксаков в замечаниях на статью г. Ламанского говорит: «Если дело пойдет, — чего надобно ожидать, то количество членов будет огромно и распространено по всей России. В таком случае, как будут решать они о достоинстве сочинений? Съезжаться для этого будет невозможно, а между тем, члены, находящиеся вне Москвы, могут иметь и желание и право решать о достоинстве сочинений. Итак, нам кажется всего лучшим, чтобы в каждом русском городе, где только будут находиться члены,

они могли назначать от себя выборного, одного или двух (без ограничения числа), избранного из их среды или из людей, находящихся в Москве»². В этих словах несомненно то, что если образуется Общество распространения знаний, то действительно в каждом губернском и в каждом значительном уездном городе будет находиться по несколько членов или даже по несколько десятков членов Общества. При каждом из таких отделов очень легко будет устроить агентство для продажи книг, издаваемых или купленных Обществом. Расходов не повлечет это за собою никаких (кроме транспортных расходов), потому что между торговыми людьми в каждом городе можно найти честного и вместе расчетливого человека, который сообразит, что поместить в своей лавке шкаф с книгами будет для него выгодно. Само собою разумеется, что Общество, имея одною из прямых своих целей всяческое содействие развитию книжной торговли, с готовностью сделает своим агентом каждого, кто уже имеет или найдет возможным иметь книжную лавку в провинциальном городе. И, конечно, этим покровительством значительно облегчится появление книжных лавок в таких городах, где до сих пор не представлялось к тому выгод.

«Считая 60 губернских и областных и кроме того 40 значительных уездных городов, мы получим 100 таких пунктов, где будет производиться по провинциям продажа книг, которыми располагает Общество. Полагая средним числом расход по 5 экземпляров в каждом из таких агентств или магазинов в течение года, мы получим, что Общество будет иметь в провинциях верный сбыт до 500 экземпляров каждой изданной или продаваемой им книги. Конечно, в некоторых агентствах продажа будет менее принимаемой нами средней цифры, но зато в 30 или 40 значительных провинциальных городах, имеющих более 20 000 жителей, продажа будет в пять и более раз значительнее принимаемой нами цифры. Полагая для столиц расход в половину против сбыта в провинциях, мы найдем, что Общество может наверное рассчитывать на распродажу в течение года 750 экземпляров каждой изданной или приобретенной им книги. Эта цифра есть minimum распродажи. Даже и в настоящее время, при всей недостаточности средств нашей книжной торговли, продажа 1000 экземпляров в течение года не считается продажей сильною. При увеличении же удобств к приобретению книг для жителей провинций, такая распродажа, конечно, будет относиться только к книгам наименее интересным для большинства публики; а каждая книга, имеющая хотя сколько-нибудь общего интереса, будет расходиться менее, нежели в год, в количестве более значительном.

«Положим теперь, что Общество будет помогать изданию книг, назначаемых в продажу по цене самой умеренной, именно: за том оригинального сочинения в 25 листов журнального формата (или 30 листов — 480 страниц — обыкновенного книжного

формата в 8-ую долю листа) — 1 руб. 50 коп. сер<ебром>, а за переводный том такой же величины — 1 руб. сер<ебром>. В таком случае для возвращения Обществу всех издержек на издание потребуется продать: 550 экземпляров переводной книги, изданной в числе 1200 экземпляров, и 870 экземпляров переводной книги, напечатанной в числе 2400 экземпляров; 370 экземпляров оригинального сочинения, изданного в количестве 1200 экземпляров, и 580 экземпляров, если сочинение издано в числе 2400 экземпляров. Нет сомнения, что годичная продажа будет гораздо значительнее этой цифры, и таким образом до истечения года Общество не только возвратит всю сумму, затраченную на издание, но и может, если то будет угодно автору или переводчику, купить у него по распродаже долговых экземпляров значительное количество экземпляров с уплатою ему наличными деньгами полной продажной цены.

«От этих коммерческих расчетов, к которым привела нас мысль о необходимости, чтобы Общество распространения знаний помогало развитию частной, независимой от него литературной деятельности, обратимся к предположениям о действиях самого Общества.

«Едва ли нужно говорить, что всевозможным содействием и ободрением развития независимой от Общества литературной деятельности нисколько не стеснится круг действий самого Общества. Задача, предстоящая ему, так велика, что всякое новое содействие со стороны независимых частных лиц может только усилить Общество и увеличить пользу им приносимую.

«Некоторые думают даже, что задача, поставляемая Обществу г. Ламанским, слишком широка, что можно было бы ограничить круг деятельности его или одним изданием оригинальных популярных руководств, или одним переводом иностранных классических сочинений; но и то и другое дело так тесно между собою связаны, что разделение их послужило бы только источником неудобств и затруднений. Предположим, что Общество хотело бы издать хорошее популярное сочинение, например, об истории Рима или Англии; русских сочинений такого рода, по всей вероятности, не найдется готовых, между тем как в иностранных литературах есть уже много книг, удовлетворяющих этой потребности, так что нужно только выбрать лучшие из них. Итак, если Общество действительно имеет свою целью распространение знаний, то главным средством для того оно необходимо должно почесть перевод иностранных произведений. Если бы оно отказалось от переводов, то чрезвычайно затруднило и замедлило бы свою деятельность. Но если представляется Обществу русская рукопись, хорошо излагающая предмет, о котором обществу нужно издать сочинение, то неужели Обществу надобно было бы отвергать эту рукопись только потому, что она есть оригинальное сочинение, а не перевод? Цель Общества — рас-

пространение знаний, а потому для него должны быть равно драгоценны все средства, ведущие к этой цели, и ни одно из этих средств не должно быть им исключено из своей программы.

«Задача Общества многосложна, и потому действительно необходима организация Общества по отделам. Мне кажется, что главная черта разделения, принятая г. Ламанским, проведена верно: науки физико-математические и науки нравственные действительно составляют две главные группы знаний; но, кажется мне, внутренняя организация каждого из этих двух отделов должна быть определена с большею точностью, нежели у г. Ламанского. Я не берусь судить об отделе физико-математическом, но скажу несколько слов об отделе наук нравственных. Г. Ламанский предлагает разделение его на два разряда: философский и исторический. Исторический делится у него на четыре класса; конечно, такое разделение необходимо и в разряде философском. Законоведение, о котором упоминает г. Ламанский при исчислении занятий этого разряда, различается от собственной философии не менее, нежели древняя история от славянской; кроме того, г. Ламанский не назвал некоторых других наук, имеющих для нашего времени не меньше значения, нежели логика или психология; таковы, например, статистика, политическая экономия, — они должны составить особый класс. Некоторые находят, что в разряде наук исторических г. Ламанский напрасно отделил русскую историю от западноевропейской, но с этим порицанием, конечно, не должно соглашаться. Можно только заметить, что история других славянских племен далеко не имеет для нашей публики той важности, как история Западной Европы и Северной Америки; она должна оставаться не более как вспомогательным средством для разъяснения русской истории. Видно, впрочем, что автор специально занимается историей славянских племен, и его пристрастие к этому предмету, объясняемое таким образом, представляется совершенно естественным. Излишнего увлечения по этому направлению едва ли можно ожидать от Общества: кроме славянистов, в нем будут и другие ученые по всем возможным отраслям наук, и их специальные увлечения, конечно, будут уравниваться одно другим; а большинство членов Общества, конечно, свободно от всяких излишних пристрастий к той или другой специальности и, во всяком случае, не даст деятельности Общества уклониться от прямой своей цели. Общество не будет служителем какого-нибудь частного увлечения, но останется органом потребностей наших и деятельность свою будет сосредоточивать на тех отраслях знаний, которые имеют для всей публики наибольшую важность. Такими предметами вообще представляются ныне русская история, история Западной Европы, изучение русского быта и изучение современного западноевропейского быта во всех его проявлениях, политическая экономия и вообще государственные науки.

«Г. Ламанский предполагает, что Общество распространения знаний должно быть образовано непременно в Москве. Если под этим надобно разуметь то, что центральный комитет Общества должен быть в Москве, то против мысли г. Ламанского нельзя сказать ничего основательного. Независимо от соображений, изложенных г. Ламанским, важно уже то обстоятельство, что Москва находится приблизительно в центре Европейской России, потому, для большей части провинций, сношения с Москвою удобнее, нежели с Петербургом, и рассылка изданий Общества по провинциям из Москвы легче и короче, нежели из Петербурга.

«Но если Географическое общество, кроме центрального пункта своих собраний, имеет еще два местных комитета, то в Обществе распространения знаний число таких филиальных учреждений должно быть еще гораздо значительнее. Г. К. Аксаков совершенно прав в этом случае. В каждом городе, имеющем значительное число членов Общества, удобно быть местному отделению Общества. Кроме Петербурга, все университетские города и некоторые из других губернских городов будут иметь очень важное участие в трудах Общества.

«Но соглашаясь в этом случае с господином К. Аксаковым, можно, кажется, оспорить ту его мысль, что члены Общества не должны получать никакого вознаграждения за деньги, уплачиваемые ими в кассу Общества. Почему бы не имели они права получать на такую же сумму книг, издаваемых Обществом (по собственному выбору)? При этом условии я уверен, что число членов будет в пять раз более. Общество не останется от того в убытке: продажная цена книги по необходимости всегда бывает гораздо выше, нежели издержки на печатание лишнего экземпляра книги. Если напечатается 3000 лишних экземпляров книги ценою в 1 рубль за экземпляр, то издержки на эту прибавку не будут превышать 15—20 коп. на экземпляр. Таким образом, вознаграждение членов изданиями Общества на сумму, равную плате, вносимой каждым членом, значительно увеличивая число людей, делающихся членами Общества, и с тем вместе увеличивая число книг, обращающихся в руках публики, увеличит также и денежные средства Общества и даже чистый доход его, который, конечно, будет оно постоянно употреблять на расширение своей деятельности, а отчасти может употреблять и на безденежную раздачу учебных руководств бедным ученикам общественных школ, а также различных элементарных книг грамотным и недостаточным простолюдинам.

«Г. К. Аксаков думает, что сумма, вносимая членами Общества, должна быть положена самая умеренная, и определяет ее в три рубля серебром ежегодно. В самом деле, чем умереннее эта сумма, тем лучше, потому что тем больше будет число членов Общества.

«Некоторым не нравится слово «матица». В самом деле, на русском языке оно не имеет того смысла, как на других славянских наречиях, и я не вижу особенной надобности употреблять его. Но пусть это учреждение называется «Матицею» или каким-нибудь другим именем более понятным, — из-за имени можно и не спорить, лишь бы только учреждение было основано на разумных принципах и приносило пользу.

«Для печатания своих книг Общество, вероятно, найдет выгодным иметь собственную типографию, когда расширение его средств позволит обратить часть капитала на устройство этого заведения.

«Для распродажи книг оно, конечно, учредит в Москве центральное депо, чтобы по возможности избежать потерь от уступки процентов за комиссию».

Очень часто книга производит впечатление нимало не соразмерное своим ученым достоинствам, благодаря тому, что в ней рассматривается вопрос, близкий к интересам публики; в прошедшем году таков был успех сочинений Токвилля «L'ancien régime» и Монталамбера «De l'avenir politique de l'Angleterre». Князь Черкасский, написавший об этих книгах замечательную статью («Русская беседа», том 2-й), смотрит на них именно с этой точки зрения³.

Статья начинается замечаниями о современном положении Франции, тем более необходимыми, что у нас многие имеют об этом предмете понятие не совсем правильное.

«Читая обе книги и говоря о них (замечает князь Черкасский), невозможно не предпослать всякому о них рассуждению некоторых первоначальных общих замечаний, касающихся современного состояния Франции. Прежде всего нас поражает свободное, беспрепятственное появление и печатание во Франции двух таких капитальных сочинений, явно направленных против существующего в ней ныне порядка вещей... Так велика уже во Франции и так укрепилась в ней свобода мысли и свобода жизни, которую она добыла себе тридцатилетним периодом правления Бурбонов и Орлеанского дома, что подобное литературное явление, даже в эпоху настоящей диктатуры, проходит как бы незамеченным внешнею властью, не возбуждая особенного полицейского ее внимания. Это явление может, конечно, служить замечательным признаком созревающей общественной жизни во Франции, каковы бы, впрочем, ни были судьбы ее в неведомом для нас грядущем. Скажем более. Этими первоначальными приобретениями своими общественная жизнь Франции не может уже удовлетвориться: чтобы убедиться в этом, достаточно нам будет привести незаподозримое свидетельство одного из замечательных первоначальных деятелей настоящего наполеоновского периода, доктора Верона, в том виде, как передается нам оно газетою «Le Nord», раскрывшей столбцы свои отрывкам из одного нового его произведения: «Четыре года правления Наполеона III». Вот подлинные слова доктора Верона: «Добровольно отказавшись от мнимой поддержки, находимой будто бы во всеобщем онемении, император (то есть Наполеон III) ясно докажет и внутренним политическим партиям и в особенности иностранцам, как велика его сила и уверенность в ней. Где не допускается свобод-

ное обсуждение, где не позволен спор, там и похвала теряет все значение свое, а между действиями четырехлетнего правления императора встречается многое, что по совести можно бы похвалить. К тому же этот строгий закон молчания, наложенный на печать туземную, порождает в публике лишь живейшее сочувствие и любопытство к газетам иностранным, в которых дух злобы и неприязни доходит до клеветы. Я понимаю, что критика, даже благоразумная и умеренная, может казаться неприятною некоторым из тех, которые окружают престол и, утопая в спокойствии власти безотчетной, крепко стоят за то, чтобы никакой шум, никакой свободный звук извне не пришел бы их смутить. Но, во всяком случае, налагаемое на журналы и газеты молчание, к сожалению, всегда кидает нравственную тень на личность «самого государственного вождя». («Р<усская> беседа», Крит<ика>, стр. 24.)

В словах Верона есть много справедливого, хотя сам Верон не принадлежит к людям особенно правдивым. Действительно, путь, избранный Наполеоном III, не совершенно выгоден для блеска его имени во Франции: похвалам, какие читают ему в своих нынешних газетах, французы вовсе не верят, напротив, охотно верят всем дурным слухам, которые с чрезвычайною быстротою расходятся изустно по Франции, увеличиваясь при переходе из департамента в департамент, из города в город; из этих слухов очень многие совершенная клевета, но кто опровергнет эту клевету, когда она, хотя всем известная, укрывается, однако, от гласности? А когда французские газеты и опровергают тот или другой невыгодный для Наполеона III рассказ, никто им не верит, зная, что они не могли бы назвать этой молвы справедливою, если б она была справедлива. Таким образом, во французском обществе все увеличивается и усиливается невыгодное мнение о Наполеоне III, и он, хотя имеет на своей стороне справедливость во многих случаях, не может разрушить ни одного из предубеждений, образовавшихся против него, потому что лишился себя единственного средства к защите своей чести, стеснив гласность во Франции. Этим не ограничивается вред, который терпит от того его имя. Слухи, изустно распространяющиеся во Франции, переходят за границу и появляются в иностранных газетах с печатью неопровержимой истины: «во Франции всем это известно», — говорят иностранные газеты — они проникают во Францию и служат для каждого француза новым доказательством неоспоримой справедливости того, о чем он сам прежде слышал и рассказывал знакомым: «ну вот, об этом говорят уж и за границею; как о деле известном каждому во Франции; стало быть, это правда». Наполеон III очень хорошо знает, как много проиграл он относительно доброго мнения о себе у каждого француза, стеснив газеты; он знает, что теперь французы считают его человеком в десять раз худшим, нежели каков он на самом деле и каким считали бы его, если бы газеты могли говорить о нем так же свободно, как в свое время говорили о Людовике Филиппе, но ему гораздо интереснее иметь власть, нежели пользоваться выгодным мнением о себе; ему кажется, что газетные

и парламентские прения стеснили бы его власть или даже подвергли бы его опасности, и потому он по возможности стеснил их. Но в этом случае он ошибается: его власть вовсе не расширилась от того, что он стеснил газетные и парламентские прения, и если что сохраняет прочность занятого им положения, так именно то, что, в сущности, личность его имеет вовсе не так много власти во Франции, как может казаться ему и кажется всем, судящим о ходе событий по формам, посредством которых решаются вопросы, а не по духу, в котором они решаются. В обоих этих мнениях мы противоречим обыкновенному взгляду, но, быть может, читатель согласится, что мы правы, когда прочтет следующие строки.

Людовик Филипп управлял Франциею при безграничном просторе газетных и парламентских прений, и, однако же, если хорошенько всмотреться в события его правления, мы увидим, что его личная воля имела больше влияния на ход французских государственных дел, нежели воля Наполеона III. При Людовике Филиппе французы несколько раз сильно желали войны с Англиею, — Людовик Филипп не хотел войны, и войны не было. Французы не хотели подчинения французской политики в иностранных делах английскому влиянию, — Людовик Филипп хотел того, и действительно, французская политика в иностранных делах подчинялась влиянию английской. Французы хотели расширения права избирательства в палату депутатов, — Людовик Филипп не хотел того, и право избирательства не расширилось. Словом сказать, какой бы важный государственный вопрос мы ни взяли из французской истории в правление Людовика Филиппа, мы увидим, что желание французов было противоположно мнению Людовика Филиппа и что дело всегда было ведено и разрешалось именно так, как хотел Людовик Филипп. До сих пор ни в одном важном случае Наполеон III не решался и не мог поступить так противно общему желанию французской нации, как Людовик Филипп. Людовик Филипп проводил всегда свою волю наперекор мнению нации. Наполеон III до сих пор постоянно должен был подчиняться этому мнению, и все важные события его правления сообразны с мнением нации. Нация имела вражду против Англии за господство Англии над Францией при Людовике Филиппе, и Наполеон III первым делом своим почел грозить войной Англии. Французская нация имела желание прославиться на войне и восстановить свое влияние на Востоке — Наполеон III поспешил, в союзе с Англией (которую лично он не любит), начать войну против России (которой лично он сочувствует). Точно так он был слугою национальной воли во всех важных событиях своего правления, между тем как во всех случаях Людовик Филипп поступал наперекор этой воле. «Но, быть может, Наполеон III сам лично был во всем согласен с общим мнением и не желал никогда идти наперекор ему?» Во все нет;

во многих случаях его личное мнение было противно общему мнению, и в каждом из таких случаев он уступал и делал наперекор себе. Например, Наполеон III — приверженец системы свободной торговли; но во Франции до сих пор господствуют протекционисты — и Наполеон III принужден был отступить от своего желания значительным образом понизить французский тариф. Таких случаев было много, и ни в одном из них личная воля Наполеона III не исполнялась, между тем как личная воля Людовика Филиппа постоянно торжествовала. Итак, хотя по форме Наполеон III имеет гораздо больше власти, нежели Людовик Филипп, но, в сущности, он имеет гораздо меньше власти, нежели Людовик Филипп. Уступая нации конституционную форму, Людовик Филипп на самом деле совершенно самовластно управлял Францией; отняв у Франции эту форму, Наполеон III поставил себя в такое шаткое положение, что ни в чем важном не отваживается поступить самовластно и во всем подчиняется власти нации. Один имел сущность неограниченной власти без формы неограниченной власти, другой, погнавшись за формою, утратил существенную власть над делами.

Таким образом, если Наполеон III, стесняя газетные и парламентские прения во Франции, хотел приобрести более сильное личное влияние на государственные дела, он обманулся и остался в проигрыше; сравнительно с Людовиком Филиппом, конституционным королем, Наполеон III пользуется лишь незначительным влиянием на дела своего государства. «Но по крайней мере ему в самом деле удалось стеснить парламентские и газетные прения?» Нет; более кажется, что удалось, нежели в самом деле удалось: по форме он стеснил их, в сущности — вовсе не мог стеснить. Его Законодательное собрание кажется просто безмолвным орудием для внесения в протоколы заседаний тех законов, какие предлагаются этому собранию, — на самом же деле, это, повидимому, безмолвное орудие воли Наполеона нимало не уступает своею силою шумной палате депутатов при Людовике Филиппе; что мы говорим, не уступает? — мало того, оно на деле сильнее, нежели палата депутатов. Когда при Людовике Филиппе министерство вносило в палату депутатов проект какого-нибудь важного закона, почти не бывало примера, чтобы палата отвергла этот проект; а между тем министров, составлявших проект, Людовик Филипп назначал, в сущности, по своему выбору, они во всем подчинялись его воле и составляли проекты именно в том духе, как угодно было Людовику Филиппу. А при Наполеоне III Законодательное собрание без всяких шумных прений отвергло довольно много важных проектов, составленных министрами. Да и в выборе министров он стеснен гораздо больше, нежели Людовик Филипп. Он имеет всю внешность власти, но, в сущности, власть его ограниченнее, нежели власть Людовика Филиппа. Это относительно парламентской силы; а что касается газетных

прений, тоже нельзя не видеть, что газеты, подвергаясь всевозможным стеснениям и преследованиям, умеют однако же говорить все то, что хотят сказать: если не могут сказать прямо, они объясняют свою мысль примером, историческим обзором, сличением цифр, намеком, наконец молчанием, — и читатель очень хорошо понимает все, что хотят ему объяснить, и в большей части французских газет на каждой странице видим осуждение Наполеона III. А если мы вспомним, что в последнее время начали издаваться французские газеты за границами Франции, что эти заграничные газеты читаются во Франции с большею жадностью, нежели парижские, и что они пишутся с большею прямою, нежели когда-нибудь писались парижские газеты при Людовике Филиппе, то мы совершенно убедимся, что Наполеон III, всячески стараясь стеснить газеты, мог несколько стеснить их только по форме, а в сущности опять-таки вовсе не успел прекратить в них постоянного порицания против своей политики и своего лица, — напротив, только раздражал, усилил это порицание и сделал его привлекательнейшим для французской публики, принудив его быть хитрым, остроумным или принудив его перенестись за границу, где отбрасывает оно все те условия, которые должно было соблюдать при Людовике Филиппе.

Да, когда вступишь в сущность дела, то видишь, что Наполеон III, стремясь к тому, чтобы стеснить парламентские и газетные прения во Франции, достиг этой цели только по форме, а вовсе не на деле, — а между тем, стремясь к ней, упустил из рук сущность власти, которою пользовался Людовик Филипп.

Конечно, Наполеону III неприятно то, что стеснение парламентских и газетных прений не расширило его власти; неприятно и то, что даже формальное стеснение этих независимых сил не могло быть им доведено до такой степени, как ему хотелось бы: ему хотелось бы совершенно уничтожить формы, напоминающие о временах Орлеанской династии; но в этом случае он ошибается, из пристрастия к формам забывая об условиях прочности власти. Ненавистные ему остатки учреждений, существовавших при Людовике Филиппе, служат единственным надежным ограждением прочности правления даже Наполеона III, который преследует их. Возьмем хотя бы недавний случай — выборы в Законодательное собрание. Около половины избирателей не захотели подавать голоса и тем протестовали против форм управления, введенных Наполеоном; из остальных почти столько же голосов оказалось в пользу оппозиционных кандидатов, сколько и в пользу кандидатов правительства, — итак, немногим более нежели одна четвертая часть французского населения поддерживает форму правления, введенную Наполеоном III, и почти три четверти населения враждебно смотрят на эту форму. Кажется, такой результат не очень благоприятен, — и, однако же, Наполеон III получил значительную нравственную поддержку своей власти даже от

такого результата: до выборов все готовы были предполагать, что не из четырех человек, а разве из ста человек во Франции один одобряет Наполеона, что правительство Наполеона вовсе не имеет искренних приверженцев и держится единственно насильем, — для него очень выгодно уже и то, что хотя четвертая часть населения оказалась в его пользу; и таким образом выборы, повидимому чрезвычайно неблагоприятные для Наполеона, на самом деле значительно утвердили его власть. Без выборов она была бы гораздо слабее и гораздо более подвержена опасным случайностям, нежели в настоящее время. Точно то же надобно сказать и о других остатках системы, существовавшей при Людовике Филиппе, уцелевших при Наполеоне: каждая из этих форм служит опорой для Наполеона; и если проникательные люди полагают, что власть его не совсем прочна, то именно потому только, что он слишком стеснил эти формы, увлекшись своею антипатией к ним.

Он слишком стеснил эти формы, сравнительно с той широтой, в какой действовали они при Людовике Филиппе; но совершенною ошибкою было бы думать, что стеснение, даже видимое, так велико, как уверяют в том французы, недовольные Наполеоном III. Человек жалующийся всегда расположен преувеличивать важность фактов, приводящих его в нетерпение. Появление таких книг, как сочинения Токвилля и Монталамбера, вовсе не есть дело редкое или случайное: можно сказать, что большая часть сочинений, выходящих во Франции по историческим, юридическим и тем более по политическим наукам, написаны также в духе, противном системе управления, введенной Наполеоном III, и никто не думает, что эти сочинения могут подвергнуться какому-нибудь преследованию от его правительства. Но книги во всех странах Западной Европы менее подлежат стеснению, нежели газеты, — посмотрим же, каково ныне положение газет во Франции. «Journal des Débats» прямо называет себя органом орлеанской партии и конституционной монархии. «Siècle» столь же прямо и решительно называет себя органом республиканцев, — и каждая из этих газет в каждой статье доказывает превосходство того принципа, которого держится. «В чем же после того стеснение, на которое жалуются они?» Просто в том, что они не имеют права прямо отрицать добросовестность французского правительства или прямо порицать личные качества Наполеона III; они могут как угодно судить о каждом в отдельности поступке правительства или о каждом законе, предлагаемом правительством; могут доказывать, что закон этот несправедлив или не соответствует своей цели, и действительно, они каждый день пользуются этим правом; но они не могут прибавлять положительного уверения, что Наполеон III имеет в виду дурные цели, предлагая или одобряя этот закон; они не должны оскорблять личности Наполеона III, приписывая ему намерения, гибельные

для Франции; они могут только доказывать, что он ошибается. Для большей определенности возьмем какое-нибудь определенное дело. В конце 1855 года разносится слух, что Франция начала переговоры с Россией, в начале 1856 года известно становится, что в Париже собирается конгресс для заключения мира. Французские газеты могли доказывать, что мир этот преждевременен и невыгоден для Франции, что надобно продолжать войну; они могли также доказывать, что войны против России вовсе не следовало и начинать, что она была невыгодна для Франции. Они не могли только говорить, что Наполеон III начал эту войну или прекращает ее по каким-нибудь личным видам, противным интересу Франции, — они должны были предполагать, что его действия, невыгодные для Франции, происходят не от злого умысла, а просто от ошибки. Другой случай: Законодательному собранию предложен государственный бюджет. Газеты могут находить, что армия во Франции слишком многочисленна и содержание ее слишком обременительно для нации, могут говорить, что полезно было бы сократить ее и сократить именно в такой-то пропорции, такими-то средствами; они могут доказывать также таким образом, что каждая другая отрасль французского управления организована неудовлетворительным образом и что расходы на нее слишком велики или слишком малы. Могут также доказывать, если угодно, что каждый из существующих налогов дурен и должен быть изменен или заменен другим. Когда таким образом обсуждают французские газеты государственный бюджет, то нет надобности говорить, могут ли они прямо выражать свое мнение о других законах: бюджет есть важнейшее дело между всеми вопросами внутренней политики, и когда о нем французские газеты могут судить свободно, то тем более могут судить о каждом другом законе. Газеты не должны говорить только одного: не приписывать недостатков закона злomu умыслу со стороны правительства, не приписывать злоупотреблений личному желанию Наполеона III, — все остальное подлежит их критике: и все законы, и все действия правительственных лиц, от министров до архиепископов. И такое положение газет называется во Франции стеснительным, и английские газеты уверяют, что французы живут под тяжелым и гибельным игом, — какое странное преувеличение! Надобно ли после таких фактов удивляться тому, что беспрепятственно появляются во Франции книги, подобные сочинениям Токвиля и Монталамбера? Тут вовсе нечему удивляться; во французских газетах ежедневно печатаются совершенно подобные статьи.

Монталамбер менее всех других французов имел бы права возвышать свой голос против порядка дел, введенного во Францию Наполеоном III: знаменитый предводитель умеренных иезуитов напрягал некогда все свои силы к тому, чтобы дать Наполеону III возможность ввести этот порядок. Когда французы

отправили свою экспедицию для взятия Рима, и был положен желанный конец отвратительной анархии и гнусному восстанию против папы, начатому по наущению злодея Мадзини, Монталамбер с восторгом доказывал необходимость совершить подобное же дело в самой Франции, принять всевозможные, насильственные и ненасильственные, законные и незаконные меры для подавления французских республиканцев и либералов. «Надобно, говорил он, сделать второй римский поход в самой Франции для восстановления порядка». Его желание было исполнено Наполеоном III, — и вот Монталамбер уже недоволен; вот он уж сам либеральничает и восстает против законного порядка — это очень дурно, это совершенно неизвинительно ему, это едва ли даже честно с его стороны. Но среди различных неосновательных выхонок, среди умышленного и не умышленного искажения фактов, встречаются иногда в его книге страницы, не лишенные некоторой справедливости. Так, например, он доказывает, что в Англии гораздо более порядка, нежели во Франции, и доказывает, что англичане умеют извлекать выгоды и для своего государства и для частных лиц из своих учреждений, которые могут казаться слишком шумными для человека,

«издавна приобикшего к однообразному томлению родной страны (Монталамбер намекает на Францию), где нет ни борьбы, ни упорного труда, ни самородной и самобытной деятельности, где все и всегда носит официальный ярлык, имеет себе неизменное место, расставлено по углам, согласно щепетильной попечительности внешней власти, всегда готовой избавить гражданина от всякого беспокойства и снять с него всякую ответственность в общем деле, но тем самым нещадно умерщвляющей в нем дух отчизнолюбия и самопожертвования, расслабляющей людскую породу и осуждающей народ на безысходное несовершеннолетие». («Русская» б«еседа», Крит<ика>, стр. 30.)

Конечно, на это можно возразить: на каком же основании Монталамбер помогал Наполеону III, когда Наполеон III стремился к введению во Франции тех форм, которые теперь так мало нравятся Монталамберу? Или Монталамбер тогда не знал, чего сам хочет? В другом месте он рассуждает о причинах, по которым до сих пор удержалось в Англии сильное влияние аристократии:

«Пусть другие, говорит Монталамбер, восхваляют ее великопение, мужество, красноречие и политическую мудрость: они будут вполне правы. Но я хвалю, благословляю ее выше всего за то, что она умела, прежде всей остальной Европы, внять голосу справедливости в установлении отношений своих к своим подданным, что она вступила в правомерный союз с ними, не будучи к тому вынуждена ни внешнею властью, ни восстаниями. Тот, кто возьмется проследить сквозь течение многих веков отношения крупных английских землевладельцев к их фермерам и сравнить их с пагубными раздорами дворянства и земледельческого народонаселения на материке Западной Европы, тот, конечно, напишет одну из лучших и полезнейших страниц истории всемирной. Достоверно только то, что еще за два столетия до того времени, как дворянство Французское, принесши в жертву Людовику XIV свое достоинство и независимость, упорно старалось еще поддерживать обветшалое и возмутительное здание своих феодальных прав, которому

суждено было вдруг с шумом обрушиться в памятную ночь 4-го августа 1789 года, дворянство английское уже освободило своих крестьян и вместе с тем избавило себя от смертоносного ига этих исторических анахронизмов». («Р<усская> б<еседа>», Крит<ика>, стр. 42.)

Монталамбер восхищается устройством английских университетов; князь Черкасский справедливо замечает, что такое устройство неприменимо ни к какой другой стране.

«Но (прибавляет он) вместе с тем мы должны сказать, что только ценою предоставления университетам полной свободы развития, значительной степени независимости от внешней власти и прочного усвоения их управлению начала избирательного, могут быть сообщены им те необходимые условия внутренней энергии, жизненной упругости и серьезного корпоративного характера, вне которых нет искреннего уважения общества к учреждению, нет прочного воздействия образовательной среды на юношество, нет, наконец, для нее возможности воспитать для отечества своего гражданина с привычкой равно уважать и себя, и существующий закон. («Р<усская> б<еседа>», Крит<ика>, стр. 55.)

У Монталамбера встречаются отдельные справедливые мысли, но совершенно ложна основная тенденция его книги: внушить французам необходимость введения во Франции тех аристократических учреждений, которые потеряли свое могущество и в Англии, сохраняя только старинный блеск без старинной силы. У Токвилля, напротив, и основная мысль книги не лишена справедливости, хотя выражена несколько односторонним образом и доведена до чрезвычайного преувеличения.

Причину всех политических волнений, постигших Францию в конце прошедшего века и продолжающих доселе господствовать в этой стране, Токвилль считает централизацию, доведенную до чрезвычайной крайности со времен Ришелье и Людовика XIV. Он так увлекается этою мыслью, что упускает из виду все другие причины к общему неудовольствию, постепенно все сильнее и сильнее овладевавшему французской нацией в течение XVIII века, а причин этих было много и кроме централизации. Надобно также заметить, что едва ли правильно употребляет он слово «централизация» для обозначения того порядка вещей, которому приписывает все бедствия Франция. «Централизация» предполагает одинаковость учреждений во всех областях государства и очень малую степень власти областных правителей, — этого не было во Франции до 1789 года. В каждой провинции существовала какая-нибудь особенность, подати и налоги между ними распределены были неуравнительно, отношения сословий были неодинаковы и т. д. Такой порядок дел вовсе не централизация, и сходен с нею был он только тем, что вообще французская администрация и фиск совершенно самовластно управляли всею общественною жизнью и самовластно распоряжались частною жизнью, не признавая никаких преград и ограничений своему произволу ни в чьих правах. Это не централизация, это просто система произвольного управления, — та самая система, которая возобнов-

лена Наполеоном III; страдания и бедствия, нанесенные ею Франции в течение XVI, XVII и XVIII веков, были невероятно велики, и этим объясняется увлечение Токвиля. Только немногие провинции, так называвшиеся *paus d'états*, находили хотя слабую защиту от произвола интендантов (областных правителей) и министров в своих областных учреждениях, случайно сохранившихся до некоторой степени. Из всех французских областей, наибольшим благосостоянием пользовался Лангедок: обременительное отправление феодальных обязанностей натурою, существовавшее в других провинциях, было там заменено денежною платою; дороги и каналы находились в отличном состоянии; финансы области были в таком цветущем положении, что она могла делать государству очень значительные ссуды.

«Чем объяснить такое неслыханное в древней Франции процветание отдельной области (продолжает князь Черкасский)? Токвиль видит в нем естественное и необходимое последствие существования в Лангедоке независимых провинциальных учреждений и предоставления центральной властью всех дел местного управления, всей внутренней раскладки податей и надзора за общественными предприятиями областным лангедокским штатом, состоявшим из 92 членом, из которых 46 депутатов среднего сословия, 23 епископа и 23 депутата от дворянства. Способ собрания их и делопроизводство, даже самый их состав — все было в них далеко неудовлетворительно, и должно признаться, королевская власть мало заботилась об совершенствовании их, всегда видя в областных учреждениях орудие докучливое и не довольно гибкое в руках своих чиновников. Но уже и этого несовершенного учреждения, этого всегда присущего и озаряющего пути местного интенданта — светососного фокуса, как называет его Токвиль, было достаточно, чтобы спасти Лангедок от многих невольных промахов и предотвратить или исправить многие ошибочные действия центральной французской администрации». («Р<усская> б<еседа>», Крит<ика>, стр. 79.)

«Областные учреждения (прекрасно заключает свою статью князь Черкасский, говоря о формах, которых не может ввести Наполеон по всему не нормальному положению) являются в настоящее время лучшею точкою опоры для правительства во всех тех государствах, где еще сохранились для воссоздания их какие-либо живые элементы. Только с их помощью, при благотворном их воздействии и влиянии на местное управление, может принести какую-либо пользу сознательно и бессознательно ныне требуемое везде и всеми отменение административной централизации. Но подобный подвиг возвышенной и бескорыстной политики может совершить лишь государь, рожденный на престоле, от самой колыбели окруженный любовью своего народа и столько же уверенный в нем, сколько искренно и горячо его любящий. Возможность совершить подобный подвиг сберегается скупой рукою Истории лишь для немногих ей особенно сочувственных любимцев». («Р<усская> б<еседа>», Крит<ика>, стр. 88.)

В «Русском вестнике» (№ 11) надобно заметить статью г. Безобразова «Физиология общества», объясняющую современный взгляд на отношение политических вопросов к общественным: г. Безобразов справедливо говорит, что ныне политические вопросы рассматриваются преимущественно только как одежда общественных вопросов или как пути для удовлетворения общественных потребностей:

«Смотря на государство (говорит г. Безобразов) как на внешнее, необходимое обеспечение органического развития общества, общественная физиология не налагает на государственную деятельность никаких произвольных обязанностей, не исходящих из внутренних потребностей того общества, которое государство призвано защищать от внутреннего и внешнего насилия, не предпосылает ему никаких заранее приготовленных форм, не обусловленных самими интересами народной жизни. Без защиты государства никакое общество не может достигнуть свободного развития сил своих; но и без общества, свободно развивающегося под защитою государства, последнее не имеет никакого значения. Государственная форма, в самом обширном значении этого слова, дает гарантии тем сделкам, в которые вступают общественные интересы между собою. Задача его не более, но и не менее. Как только государство при охранении общественных интересов задумывает устраивать при этом свои собственные дела, так тотчас оно выходит из пределов своего естественного назначения; общественные интересы рано или поздно выходят из-под опеки, с помощью которой хотели усыпить их, и государственные дела, не разрешающие никакого общественного дела, теряют всякое значение, всякий кредит для общества Искусственный государственный порядок порождается всеобщее парализацию. Понятно, что с этой точки зрения государственные формы не могут быть построены по каким-нибудь отвлеченным принципам: они всегда должны обуславливаться положением того общества, которое ими охраняется. Потому-то и характер и идея государственной деятельности разных времен и народов различны, что мы действительно и видим в истории. Так начинаю смотреть на государство все новейшие исследователи, совершенно оставившие ту почву, на которой возникали политические воззрения прежнего времени и еще возникают отсталые воззрения некоторых современных писателей; в мнении последних, всякое государство должно осуществлять одну идею, стремиться к одной цели. Если можно найти эту одну общую идею и цель, то можно выразить их разве только так, что государство обязано обеспечивать свободное развитие общественных интересов. Такой общий смысл для государства можно принять. В этом смысле государственная деятельность получает свой особенный характер, отличный от всех других отраслей деятельности. Оно охраняет, дает определенную, прочную форму сделкам, в которые беспрестанно вступают между собою разные противоположные интересы в обществе. Но эта форма должна быть такова, чтобы в ней были всегда открыты двери к новым компромиссам, беспрестанно разнообразящимся в бесконечном развитии общества. Существующие в обществе интересы бесконечно разнообразны: интересы собственности и нищеты, капиталов, земли и работы, религии и нравственности, труда и нищеты, образованности и невежества, движения и застоя; но все эти интересы, каковы бы они ни были, в силу исторической давности, в силу времени и общества, давших им раз жизнь, имеют неотъемлемое право на уважение, на защиту от всякого насилия. Общество дало жизнь тому или другому интересу, питало его иногда очень долго, но оно не может уничтожить его одним ударом, как бы ни были священны новые интересы, выступившие в антагонизм со старыми. Общество обязано дать движение новым интересам, но также обязано дать вознаграждение старым. Государство и определяет меру этого вознаграждения, равно как и место, уступаемое новым интересам. Этим только путем могут быть обеспечены в обществе порядок и движение».

(«Русский» вестник», № 11, стр. 344.)

Конечно, последние строки имеют слишком безусловный смысл: неужели общество, развивающееся не всегда в нормальных обстоятельствах, не порождает иногда интересов, не заслуживающих ни малейшего снисхождения и долженствующих считать себя счастливыми уже тогда, когда при первой возможности

уничтожаются безнаказанно? Когда в XIII веке Рудольф Габсбургский уничтожал разбойничьи феодальные замки на берегах Рейна и в Швабии, разбойники, в течение ста или двух сот лет потомственно грабившие всех проезжих и всех соседей, неужели могли требовать вознаграждения, ссылаясь на право давности? Ведь они лишались части своих доходов. Но какое дело было до того Рудольфу Габсбургскому? Вот иное дело если б эти люди, не дожидаясь, пока общее чувство восстанет против них и смирит их против их воли, прежде того времени и добровольно выразили готовность отказаться от привычки жить чужим добром, насильственно отнимаемым, — ну, тогда швабы и жители рейнских берегов подумали бы, не требует ли благоразумие купить у этих грабителей добровольное оставление прежнего обычая; по юридическому же правилу, грабитель не заслуживает ровно никакого вознаграждения за то, что отказывается от грабежа — он счастлив должен быть уже тем, когда не взыскивают с него денег, заграбленных им. Надобно также прибавить, что общественные компромиссы только тогда производятся на справедливых основаниях, когда дело решается вместе представителями обеих сторон, — иначе, если оно решается людьми, принадлежащими к одной только из двух партий, интересы которых должны быть согласены компромиссом, другая партия непременно будет обижена. Так, например, английский парламент мог очень справедливо и (как показали последствия) очень выгодно для обеих сторон решить вопрос о хлебной торговле, потому что в парламенте были представители как протекционистов (тори), так и приверженцев свободной торговли (виги), но он не может при настоящем своем составе справедливо решить вопрос, например, о так называемых Strike'ax или взаимных отношениях фабриканта к работникам, потому что в английском парламенте находятся представители только одной из этих двух сторон. В таких случаях дела решались гораздо основательнее и справедливее так называемыми французскими промышленными третейскими советами (*conseil des prudhommes*), в которых было равное число членов из обеих партий: при таком составе, самые затруднительные случаи распутывались очень легко, ко взаимной выгоде и к общему удовольствию всех лиц, заинтересованных в деле. В русском законодательстве находятся постановления, истекшие из этого благотворного принципа. Так, например, если к делу прикосновен купец, дело производится не иначе, как при депутате купеческого звания; если к делу прикосновенно лицо из военного звания — не иначе, как при депутате из военного звания и т. д. Этот прекрасный и справедливый принцип поставляется нашим законодательством как необходимое условие всякого следствия, всякой тяжбы, и при случае компромиссов между тяжущимися партиями он должен по духу нашего законодательства обеспечивать справедливость размера, какой дается присуждаемому вознаграждению⁴.

В Журнале министерства внутренних дел помещено очень важное и отрадное известие об учреждении в Петербурге Общества для доставления дешевых и удобных квартир людям рабочего сословия. Согласно высокому желанию, выраженному его высочеством герцогом Георгием Мекленбург-Стрелицким, благоволившим принять на себя главное попечительство над Обществом, мы помещаем здесь это объявление, радуясь начинающемуся осуществлению столь прекрасной и благотворной мысли⁵.

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ ОБЩЕСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ РАБОЧЕГО НАСЕЛЕНИЯ

«Мысль об улучшении помещений рабочего населения обратила на себя в последнее десятилетие внимание многих правительств, в том числе и нашего. О состоянии сих помещений в С.-Петербурге собраны уже в разное время весьма любопытные сведения. Между ними особенного внимания заслуживают обширные изыскания, произведенные двумя комиссиями, в 1840 и 1847 годах, и обнаружившие во всей подробности, в каких неопределенных, сырых и холодных квартирах размещаются здешние рабочие. При незначительном числе домов, приспособленных, и то весьма дурно, для жилья сих людей, они должны поневоле довольствоваться квартирами, какие попадутся, приплачиваясь нередко за то здоровьем. Как мало соответствует число подобных помещений настоящей в оных потребностей, это показывают следующие цифры, извлеченные из дел министерства и которые отчасти были уже напечатаны в прежнее время в Записках Русского географического общества*.

Рабочее население С.-Петербурга составляет до . . .	250 000 чел.
Из них: проживающих в городе постоянно . . .	150 000 чел.
Приходящих на лето, для заработков . . .	100 000 чел.

«Конечно, не вся эта масса населения нуждается в наемных помещениях. Из числа рабочих, постоянно проживающих в С.-Петербурге, надобно исключить тех, кои, находясь в домашнем услужении, или при торговых заведениях, или на работе у цеховых мастеров и т. п., помещаются у самих же хозяев. Людей сего рода считается круглыми цифрами:

Купеческих приказчиков до	1 500
Лавочных сидельцев и разных служителей по торговле до	5 000
Рабочих по цехам до	26 000
Собственно домашней прислуги разных родов и черно-рабочих при домах до	100 000
Итого:	132 500

«Если из числа приходящих на лето исключить даже $\frac{3}{4}$, кои могут помещаться в самых тех местах, где производятся работы, то останется: постоянно живущих до 18 000 и временно прибывающих до 25 000, а всего до 43 000 человек, нуждающихся в наемных помещениях. Какое же имеется число помещений для сего населения? При оценке всех недвижимых имуществ в С.-Петербурге, произведенной в сороковых годах, описывались в каждом доме все отдельные помещения, то есть каждая квартира, имеющая особый вход, хотя бы она не отдавалась в наем, а употреблялась самим домовладельцем для людей, находящихся в услужении при доме. Из описей этих

* Книжка III. Статистика недвижимых имуществ в С.-Петербурге.

видно, что подобных особых квартир, за которые, кажется, плата могла бы составлять до 30 р. в год, считается в С.-Петербурге не более 2000, и из них большая часть даже не отдается внаем, а, как сказано, предназначается для дворников и других служителей при домах. Собственно для найма рабочих остается каких-нибудь две, три сотни подвалов да небольшое число домов, исключительно предназначенных владельцами для впуска черного народа, и то преимущественно на ночлеги. Дома сего рода доставляют, как известно, значительные доходы, но тем не менее, при недостатке совместности, содержатся весьма дурно. Между тем, при такой значительной массе жильцов, нуждающихся в помещении, если бы употребить несколько заботливости для содержания подобных домов, можно было бы получать с них весьма порядочную прибыль, не расстраивая здоровья рабочих. Но, чтобы была заботливость, нужно соперничество. Этого невозможно достигнуть иначе, как при содействии частной предприимчивости, которая, стремясь, с одной стороны, к справедливому извлечению денежных для себя выгод, с другой стороны — заботилась бы о доставлении жильцам наибольших по возможности удобств; одним словом, не имела бы целью наживаться на счет рабочих и ко вреду их здоровья, а согласовать их пользу с собственными выгодами, увеличивая сии последние бережливостью, благоразумною порядительностью, привлечением наибольшего числа жильцов и другими тому подобными средствами, обеспечивающими во всех промышленных делах самые блистательные успехи и прочие барыши. На эти средства указали, между прочим, и комиссии, наряженные правительством в разное время для осмотра жилищ рабочих в здешней столице.

«Какой пользы можно достигнуть в сем отношении, действуя посредством частных обществ, это показывают наилучшие примеры подобных предприятий в Англии, Франции и Пруссии. Все, что представляло почти непреодолимые препятствия для действий исключительно правительственных, удалось там исполнить легко и скоро при совокупном действии правительств и частной предприимчивости. Частные общества собирали необходимые средства посредством подписок, акций, иногда даже пожертвований; имена высоких покровителей, — королевы Виктории, принца Альберта, императора французов, принца Прусского, служили залогом их успеха, так что весьма редко оказывалась необходимость в непосредственном денежном вспоможении сим обществам со стороны правительства. Впрочем, сими обществами нигде не руководили виды частной спекуляции. Напротив, при учреждении каждого общества принято в основание, что участники ограничиваются некоторым, впрочем, достаточным процентом дохода, прибыли же свыше оного обращались на понижение цен за квартиры рабочих. Несмотря на то, учреждение обществ не только не остановилось нигде, за недостатком участников, но, напротив, с каждым днем число их увеличивается, и круг их действий распространяется. В Англии число подобных обществ доходит ныне до невероятной почти цифры, 12 000, паи коих, доставляющие небольшие, но постоянные и верные дивиденды, предпочитаются многими акциям более блистательных, но и более изменчивых в своих результатах предприятий. Основываясь на этих фактах, легко дать себе отчет в побудительных причинах к учреждению помянутых обществ. Если в числе их была, с одной стороны, некоторая весьма справедливая и благоразумная расчетливость капиталистов, — то с другой, нельзя не указать и на более возвышенные чувства истинного патриотизма и глубокой любви к ближнему, понимающей, какое влияние имеет помещение не только на здоровье, но и на нравственность рабочего.

«В странах, где статистические данные собираются с особенной тщательностью, дознано, что смертность в дурных помещениях 66 процентами больше той, какая существует в жилых, удовлетворяющих необходимым гигиеническим условиям. Нет слов выразительнее этой цифры. Столь же поразительные факты обнаруживает повсюду влияние подобных помещений и на нравственность. «Откройте списки рождений в г. Брюсселе, — говорит

Дюкпесьо (Ducpetaux) в одном из многочисленных сочинений своих, посвященных сему предмету *, — «откройте эти списки и увидите, что в общей массе на 100 рождений приходится около 36 незаконнорожденных; в частности же, между поденщиками и поденщицами, их 88, — число почти невероятное». Слишком далеко увлекло бы нас исчисление подобных результатов по другим многолюдным городам; да и не принесло бы оно особенной пользы, так как приведенные пропорции повторяются повсюду с небольшими изменениями. Взамен сего приведем из того же сочинения еще несколько строк, отличающихся столько же живым сочувствием к положению бедного работника, сколько и правдивостью изображения, которое, по этому самому, может быть применено, более или менее, к каждой стороне, к каждой многолюдной местности. «Теснота в размещении столь же вредна для здоровья, как и для нравственности народа. Действительно, представим себе комнату в несколько квадратных футов, которая служит, в одно и то же время, мастерской, кухней, столовой и спальней. Какой спертый воздух, какие миазмы должны наполнять ее! Вообразим себе ночью стоящие одна подле другой койки, на которых дети лежат возле взрослых, молодая девушка подле мальчика. Можно ли надеяться, чтобы чувство стыдливости долго противостояло соблазну? Понятно, что при таком сближении людей разных полов, порок и беспорядочное поведение развиваются с самого раннего детства. Болезни и общее расслабление еще более увеличиваются. Но и когда смерть посещает жилище бедного работника, картина, представляемая этим жилищем, превосходит все, что воображение могло бы создать самого грустного и ужасного. До погребения мертвое тело по необходимости стоит возле стола, на котором едят, и возле кровати, на которой спят. И это не отдельный, не исключительный пример; это факт, постоянно повторяющийся, которому мы не раз бывали свидетелями и который каждый может поверить. Жалкое положение, в коем находится большая часть работников и немущих, самая беспорядочная их жизнь и невоздержание не происходит ли частью от дурного состояния помещений, ими занимаемых? После трудового дня, что находит работник в своей темной, сырой, пустой и грязной комнате? Такое жилище не может удерживать его дома, и он в кабаке ищет, если не наслаждения, то, по крайней мере, самозабвения. Жена и дети напаивают ему, по большей части, лишь те лишения, которые его угнетают. Он старается укрыться от их жалоб и упреков и, чтобы избежать угрызений совести, не знает другого средства, кроме минутного одурения, производимого крепкими напитками».

«Какие возгласы несутся из грязных и вонючих закоулков, где гнездятся маленькие существа, покрытые лохмотьями? Это дикие крики, грубые песни; подчас — стенания. А где же семья? Она в разброде: отец в кабаке, мать у соседки, ребенок на улице. Семья существует лишь на случай лишений и страданий; для труда, для удовольствия ее нет. Хотите ли восстановить и соединить эту разрозненную семью? Дайте ей жилище, которое бы оправдало свое назначение, дайте ей воздуха, света, солнца! Возбудите в работнике привязанность к его жилищу, чтоб облагородить его и улучшить положение. Время настало, потому что домашний очаг, в смысле мирного семейного приюта, становится реже и реже. Союз между мужчиной и женщиной не признается союзом священным, и если бы младенец умел произносить проклятия, он стал бы часто проклинать и тот день, в который родился».

«Конечно, положение нашего рабочего не представляется еще в столь мрачном свете. Основания семейной жизни не потрясены так глубоко в нашем простом народе, и должно стараться не допустить его до сей крайности. Но, отбросив некоторые подробности, нельзя не признать, к не-

* *Projet d'association financière pour l'amélioration des habitations et l'assainissement des quartiers habités par la classe ouvrière à Bruxelles. 1846.* (Проект финансового общества по улучшению жилищ и оздоровлению кварталов, населенных рабочими в Брюсселе. 1846 г.)

счастью, что некоторые из описанных недостатков существуют и у нас. Сличая содержание их с данными, обнаруженными комиссиями, бывшими в нашей столице в 1840 и 1847 годах, окажется нечто похожее:

«Квартиры, предназначенные для простого народа, — говорит первая из сих комиссий, — отдаются домовладельцами внаем особым промышленникам, которые от себя уже пускают в них рабочих, на разные сроки, а всего чаще на *ночлег*. Народонаселение, пользующееся сими квартирами, состоит из поденщиков небольших артелей, прибывающих в столицу для приискания работ, и другого класса людей (между прочим даже чиновников). За место платится от 2 до 5 руб. асс. в месяц или от 7 до 10 коп. асс. за *ночлег*. Большая часть сих квартир содержится чрезвычайно дурно; в некоторых зимою не было двойных оконных рам; отопление самое недостаточное, и, сколько можно было заметить, квартиры сего рода *нагреваются одним скоплением людей*; стены напитаны сыростью, форточек для очищения воздуха нет, и *неопрятность превышает всякое вероятие*; помойные ямы устроены внутри жилья; иногда из пятого этажа всякие нечистоты протекают через все нижние этажи и даже по коридору; в одном доме, в котором помещается до 700 рабочих (а летом еще более), найдено, что более 7 лет не очищали и не перекрашивали стен, а полы совершенно сгнили. Хозяева, нанимающие эти квартиры от домовладельцев, желая извлечь наибольшие выгоды, пускают для *ночлега* такое число людей, сколько может вместиться, для чего делают нары в три и более ярусов, почти до потолка, люди местятся еще сверх нар на полу, на скамейках, одним словом, где есть только место, так что в квартирах, имеющих не более 3 саж. в длину и ширину, найдено было, при осмотре, *ночующих и постоянно живущих до 50 человек* обоего пола; там же малолетние дети и, среди сего скопища людей, несколько человек, одержанных прилипчивыми болезнями». Подобных примеров приведено в изысканиях комиссии множество. Покойный генерал-адъютант граф Бенкендорф, сводя все эти факты, выразил убеждение, что открытые беспорядки происходят наиболее от промышленников, кои, получая за ежегодные квартиры выгодную плату, нисколько не заботятся об их содержании.

«В 1847 году новая комиссия осмотрела до пятисот помещений рабочих и описала их с особенной подробностью.

«Рабочий народ, объясняет комиссия, помещается в тех самых фабриках и заведениях, где работает, или в особых квартирах, нанимаемых подрядчиками, артелями или самими рабочими, поодиночно. Наиболее выгод для рабочего представляет размещение первого рода, за исключением более бедных ремесленников, кои, кроме мастерских, не имеют особых помещений для своих работников. В мастерских сего последнего рода или отгораживается для кроватей какой-нибудь темный, душный угол, или рабочие спят на полу и верстаках, даже на столах, на которых днем валяют тесто. Обыкновенною подстилкой служит дрянной, тонкий войлок или, еще чаще, простая рогожка; часто даже не бывает и вовсе никакой подстилки; спят прямо на досках. Но надобно войти в квартиры собственно *наемные*, и в особенности в такие, где хозяин имеет дело не с подрядчиком, а прямо с артелью, или рабочими поодиночно, чтобы узнать, до какой степени может дойти теснота, духота, сырость, одним словом, все, что разрушает здоровье человека».

«После фактов, приведенных выше из отчетов первой комиссии, мы вошли бы лишь в излишние повторения, если бы захотели прописывать здесь и замечания последней. Как в 1840, так и в 1847 году обнаружено совершенно одно и то же. Обе комиссии пришли к убеждению, что в видах народного здоровья, общественной нравственности и даже полицейского порядка, не говоря о человеколюбии, необходимо принять решительные меры к улучшению означенных помещений, и вторая комиссия выразила при этом твердое убеждение, что все в этом отношении меры правительства могут привести к положительным последствиям лишь при содействии частных благотворительных и других обществ.

«Убеждение это, наконец, ныне осуществляется. Лица, пользующиеся известностью, общественным положением, одушевленные просвещенным усердием ко благу человечества, располагающие и благотельным влиянием и материальными средствами, предположили составить общество на акциях для улучшения в С.-Петербурге помещений рабочего населения и вообще людей недостаточного состояния. Лица сии суть: вдова полковника А. К. Карамзина, гофмейстер сенатор Хрущов, с.-петербургский губернский предводитель дворянства граф Шувалов, член совета Общества железных дорог в России Абаза, флигель-адъютант граф Бобринский, придворный банкир барон Штиглиц и инженер-полковник Палибин.

Главное попечительство над будущим обществом принял на себя его великогерцогское высочество герцог Георгий Мекленбург-Стрелицкий, супруг государыни великой княгини Екатерины Михайловны.

«Государь император, по докладу министра внутренних дел о сем предположении, изволил вполне оное одобрить и высочайше повелеть, согласно ходатайству его великогерцогского высочества, предоставить учредителям произвести необходимые предварительные изыскания и, составив для общества проект подробного устава, представить оный в свое время на утверждение в установленном порядке.

«О таком высочайшем соизволении, со стороны министра внутренних дел уведомлен с.-петербургский военный генерал-губернатор, с тем, чтобы со стороны городского, как общественного, так и полицейского, управления оказываемо было учредителям, в случае надобности, всевозможное содействие.

«Учредители намереваются прежде всего предложить конкурс для составления возможно совершенного плана такого дома, который соединял бы в себе и все удобства будущих жильцов и выгоды акционеров, возможную дешевизну постройки со всеми условиями помещения теплого, чистого, светлого, словом, снабженного всем, что для человека трудового составляет не роскошь, но лишь справедливую потребность.

«Об условиях и требованиях конкурса будет объявлено особо в публичных ведомостях.

«В этом важном для общественного блага деле правительству остается желать полного и скорого успеха просвещенным учредителям столь полезнаго и давно ожидаемого предприятия».